

1
1971

У Р А Л Ь С К И Й
С Л Е Д О П Ы Т



Далеко на севере Урала, там, где кончаются дороги, расположен небольшой рабочий поселок Полуночное. Дома, разбросанные по увалам, шахты и станция, на которую раз в сутки, точно в полночь, прибывает пассажирский поезд. Паровоз доходит до тупика и останавливается. Дальше — лес и горы. Горы синеют на западе и севере. Там — Приполярный Урал, «Печорские Альпы», над которыми возвышается самая высокая вершина Урала гора Народная.

А на юге Свердловской области, почти у самой границы с Челябинской, разбросала свои избы точно на таких же увалах, как и Полуночное, деревня Полдневая. У этой деревни начинается красавица Чусовая, воспетая Маминим-Сибиряком, река, равную которой по красоте трудно сыскать на всем Урале.

И Полдневая, и Полуночное лежат на одном меридиане — на шестидесятом. Этот меридиан проходит через весь Каменный Пояс, словно невидимый стержень, связывая в единое целое овеянный легендами седой и богатырский Урал.

На земном шаре есть немало меридианов, которые составляют славу и гордость наций. Англичане гордятся своим Гринвичем, которым начинается отсчет долготы на планете, американцы

гордятся своими 80-м и 90-м меридианами, которые проходят через крупнейшие индустриальные центры США — Детройт, Питтсбург, Сент-Луис, Мемфис и Новый Орлеан. Немцы — своим Гамбургским. У нас тоже есть свои знаменитые меридианы — Пулковский, с именем которого неразрывно связаны стойкость и мужество осажденных ленинградцев, и «стальной», уральский, — воплощение могущества и индустриальной мощи Советского Союза.

Шестидесятый уральский меридиан называют стальным потому, что вдоль него сосредоточены крупнейшие металлургические заводы Урала, его называют стальным еще и потому, что он служит для всей нашей страны своеобразным рубежом, тем опорным краем, на который опиралась и опирается наша страна и в мир, и в грозные годы войны. И сегодня, когда вся страна встречает XXIV съезд партии новыми трудовыми подарками, «Стальной меридиан» рапортует: «Есть! Есть новые заводы! Есть новые марки машин! Идет предсъездовская сталь!»

Наверное, многие мечтают совершить поход вдоль шестидесятого меридиана, начав его где-нибудь в оренбургских степях и закончив восхождением на гору Народную. Приглашаем вас в такое путешествие на страницах «Уральского слепопыта».

В Н О М Е Р Е



Литературно-художественный
научно-популярный ежемесячный
журнал для детей и юношества.
Орган Союза писателей РСФСР,
Свердловской писательской
организации и Свердловского
обкома ВЛКСМ

Год издания тринадцатый

СТАЛЬНОЙ МЕРИДИАН	2
В. Турунтаев КОРОЛИ. Очерк	6
СЛЕДОПЫТСКИЕ ДЕЛА	19
А. Коровин ПИСЬМО ПОЭТА-ПАХАРЯ	20
В. Сафонов СТАРОСТЕНОК. Повесть	21
В. Морозов ПЕВЕЦ ТРЕХ НАРОДОВ	49
Н. Мережников, А. Романов, П. Реутский, В. Матвеев СТИХИ	50
Л. Голубев ПОДВИГ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ	52
А. Шарц СУКСУНСКИЕ КОЛОКОЛА	54
К. Богданович КРАСНОГО ЯРА ЛЕТОПИСЕЦ. Рассказ	55
Н. Барсов ВРАНЬЕ И ДОБРЫЕ ДЕЛА ХЛЕСТАКОВА	63
К. Гурвич АДАЛЬБЕРТ ШАМИССО НА «РЮРИКЕ»	65
В. Житников ЧЕМПИОН И ШАМПИНЬОН	65
АФЕРА «У-2»	68
Б. Борин «ФАМИЛИЯ МНЕ НЕИЗВЕСТНА...» Фантастиче- ский рассказ	73
В. Бугров ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНЕ ЧУДЕС	79
ПУТЕШЕСТВИЯ СЕРЬЕЗНЫЕ И КУРЬЕЗНЫЕ	80

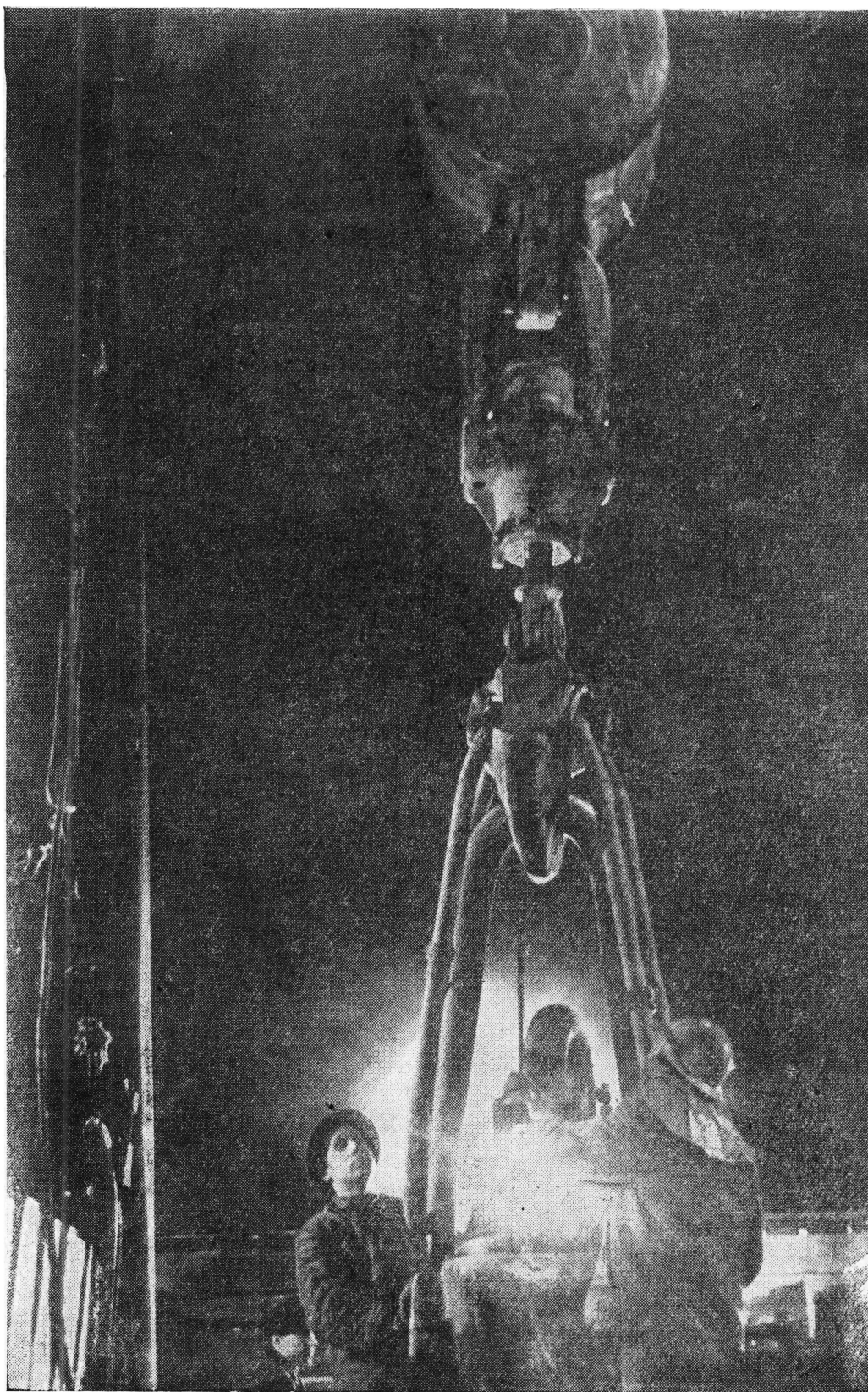
Обложка В. Воловича и С. Киприна

У Р А Л Ь С К И Й

С Л Е Д О П Ы Т

1

1971



НОЧНАЯ СМЕНА

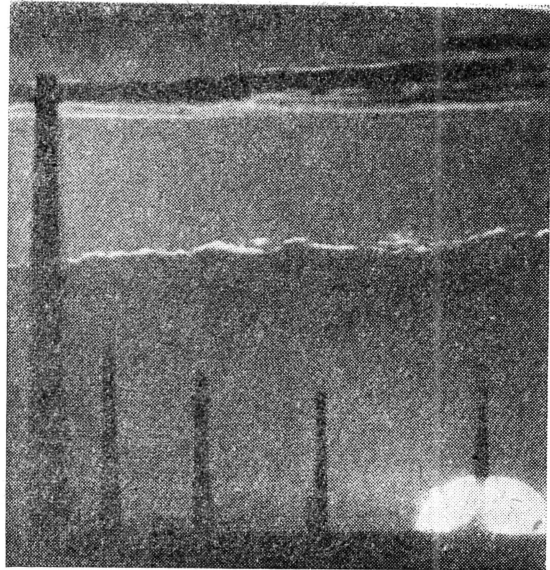


Так сбываются сказки в России...
От великих трудов и утрат
ты все крепче, смелее, красивей,
будто в битвах бывалый солдат...
Пусть в безвыходных вьюжных осадах
ты от голода падал и слеп
и до гроба запомнил, как сладок
твой — горбом заработанный — хлеб.
Пусть в поту от горняцкой науки
ты не смог научиться беречь
молодые, горячие руки,
в вечных ранах и шрамах до плеч...
Пусть ты запросто видывал ближе
все, что кажется страшным вдали,
пусть ты вытерпел,
выстрадал,

выжил

и узнал, что в пределах земли
нет такого врага на примете,
как бы ни был он крепок и смел,
чтобы ты его прямо не встретил
и в бою его не одолел...

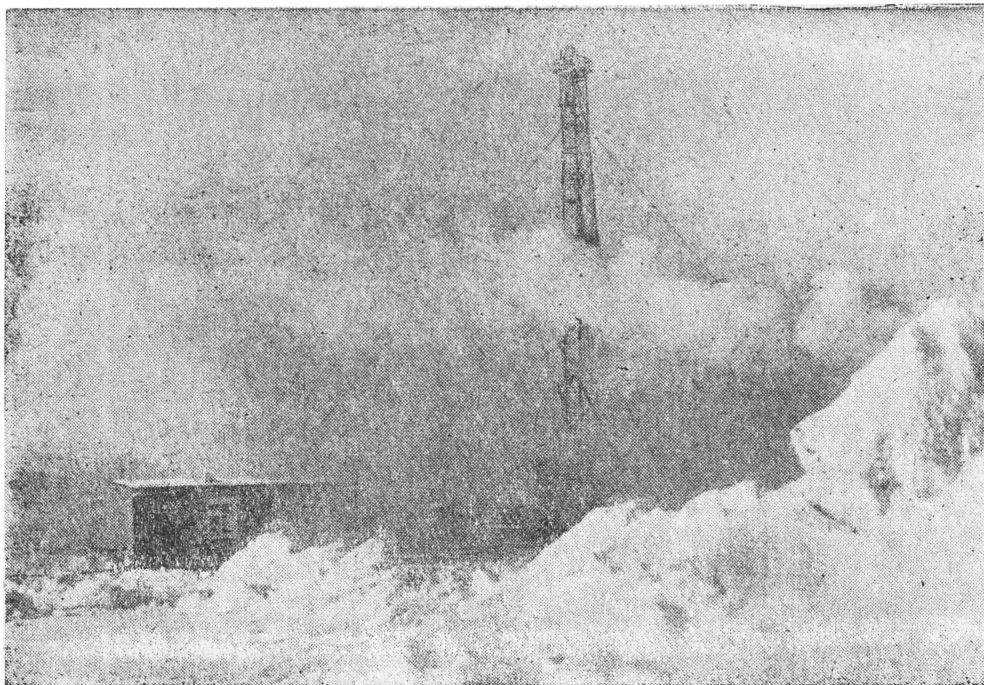
Борис РУЧЬЕВ.



ВЕХИ.



КОМСОРГ



-50° C.

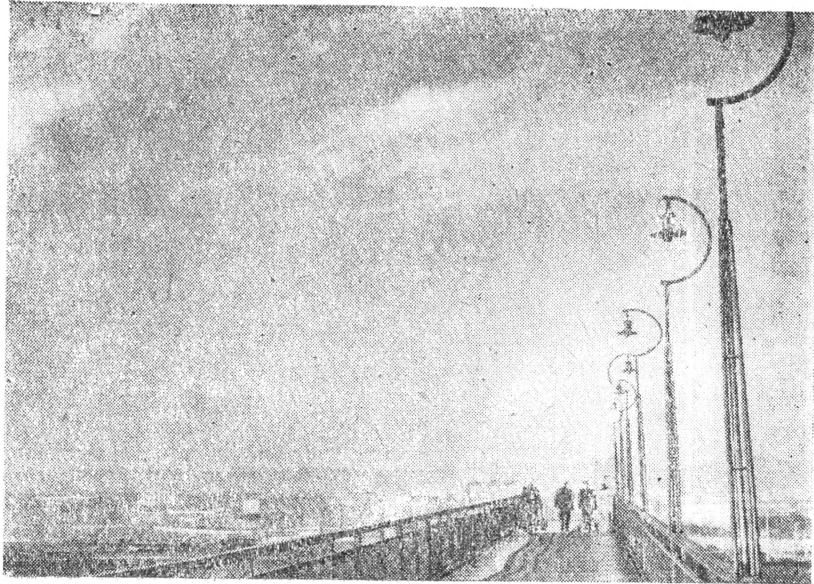


4

НА СЕБЕРЕ ДАЛЬНЕМ

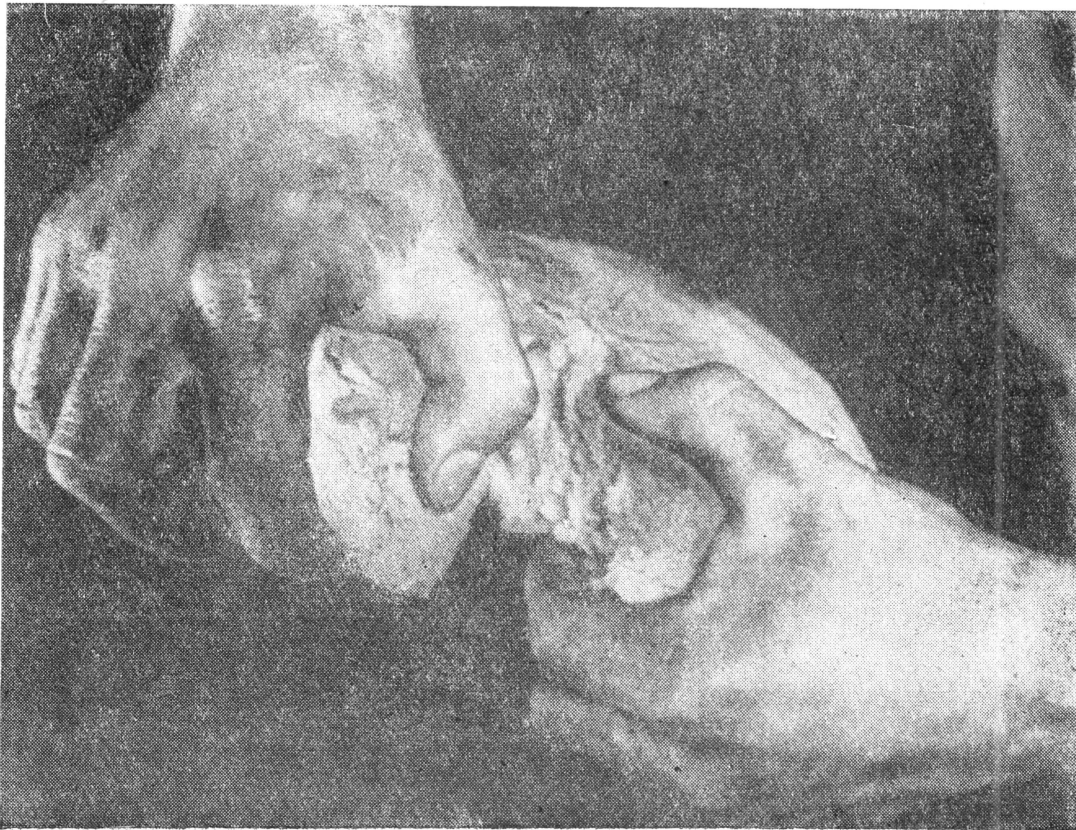


Фотоснимки
А. Лыскова
И. Сапожкова
Ю. Хренова



УТРО

ХЛЕБ



5

КОРОЛИ

В. Турунтаев



Он прямо так и сказал:

— Мы — короли.

Это когда я спросил, чем, на его взгляд, профессия токаря отличается, например, от профессии расточника, фрезеровщика или шлифовщика.

Со стороны глядя судить — каждая по-своему интересна, каждая чем-то хороша. Но если Викентий Рогашников выбрал токарное дело, значит, оно ему особенно поглянулось. Вот мне и захотелось выяснить — чем именно.

— Любая деталь начинается с токарного станка, — сказал Викентий. — Поэтому от нас все зависят, а мы — ни от кого.

— Приятная сторона дела, — согласился я.

— Скорее, ответственная, — поправил меня Викентий. — Не дай бог, если токарь запрет деталь, а на контроле не заметят брака, — бывает и так, — и пойдет негодная деталь на другие станки — на расточный, фрезерный, шлифовальный... А потом ее, уже готовую, выбросят, чтобы сделать заново. Вот что такое токарь! Он должен за всех думать, он всем нужен.

И, как бы в подтверждение этих его слов, обратился тут к Викентию расточник Фролов Иван Емельянович, фотографию которого я видел на заводской Доске почета, попросил выточить пробочку диаметром в тридцать два и сколько-то там сотых миллиметра: технологи что-то напутали в чертеже кондуктора, и одно отверстие оказалось не на месте, его тре-

бовалось «заглушить», забить стальной пробкой.

Рогашников молча, с достоинством кивнул, вставил в патрон прут нужного сечения, прошелся резцом начерно, потом — вчистовую, отрезал — пробочка готова. Фролов поблагодарил его и вернулся к себе в расточное отделение. Несколькими разами ткнул по пробочке медяшкой, и та вошла в отверстие, будто притертая. Даже шпунтовать не понадобилось.

— Значит, любишь свою работу? — спросил я у Рогашникова.

— Когда как, — ответил он. — Иногда люблю, а иногда ненавижу. А вы хотели, чтоб все было гладко? Так не бывает. Я пять лет работаю на этом станке, а вот недавно стал делать державку и споткнулся: чувствую, что не смогу довести до конца. Не так подошел. Начинаю все снова, и опять не получается. Провозился смену впустую, а вечером мастер передал заказ другому токарю, потому что работа была срочная.

В надвинутой на глаза кепке с большим выгнутом козырьком, в рыжих очках на ястребином, нервно вздрагивающем носу, сосредоточенный, сердитый, он выглядит старше своих двадцати двух лет. Его длинные руки с широко расставленными острыми локтями мотаются без усталости. С каким-то неистовством налегает он на ключ, затягивая деталь в кулачках, рывком накатывает заднюю бабку, рывком раскручивает маховик, так что центр с лету, как копьё, вонзается в торец детали. Резец тоже стремительно набегаёт на вращающийся металл... И вот тут начинаешь поражаться удивительной точности, рассчитанности движений токаря: резец входит в металл ровно на ту

глубину, которая требуется,— с допуском плюс-минус несколько сотых миллиметра. Тонко позванивая, вьется и крошится стружка, спокойно журчит струйка желтоватой эмульсии...

Девять токарных станков в инструментальном цехе. Восемнадцать токарей и два ученика работают на них в две смены. Больше все молодежь, но есть и «старички». У одного из «старичков» — свое собственное клеймо. Изготовленные им детали не проходят обычной проверки на столе ОТК. Собственно говоря, то, что выходит из-под его резца, даже неловко называть деталями. Это — произведения искусства, которые завораживают строгим изяществом отделки и каким-то одухотворенным блеском.

— Профессор,— сказал мне о нем Рогашников.— А скорее всего — колдун. Равных ему нет и, наверное, быть не может. Вы только поглядите, на каких скоростях он работает! Уму непостижимо.

Но вот он начинает рассказывать про другого «старичка», своего учителя, и я вижу, что и этот, другой,— отменный токарь, каких на заводе раз-два — и обчелся. Только у него свой характер — мягкий, раздумчивый. Токарь-философ.

Третьего Рогашников охарактеризовал словечком «крутой», четвертого — «силовой».

— Ну, а себя ты к какой категории относишь? — спросил я у Викентия.

— А я по-всякому работаю,— ответил он.— Когда как. Своего особого почерка пока еще не приобрел. Молод.

— Когда-нибудь и ты станешь профессором токарного дела,— сказал я.

— Нет, я уж не буду им...

Викентий произнес эти слова с грустью, потому что говорил правду: в скором времени ему предстоит перейти со станка на другую, совсем новую работу. Я знал об этом еще до того, как познакомился с ним: начальник цеха сказал мне, что Рогашников на будущий год заканчивает вечернее отделение политехнического института.

— Уйдет от нас в отдел. А жаль — хороший токарь.

И вот при знакомстве я возьми и спроси:

— Что, последний год у станка?

На меня холодно блеснули стекла его очков:

— Почему — последний?

— Да ведь как же — институт...

Рогашников добела стиснул тонкие губы, и снова недобро блеснули на меня стекла его очков.

— Не учусь я в институте.

— Как так? — удивился я.

— А так. Бросил.

— Да почему же?

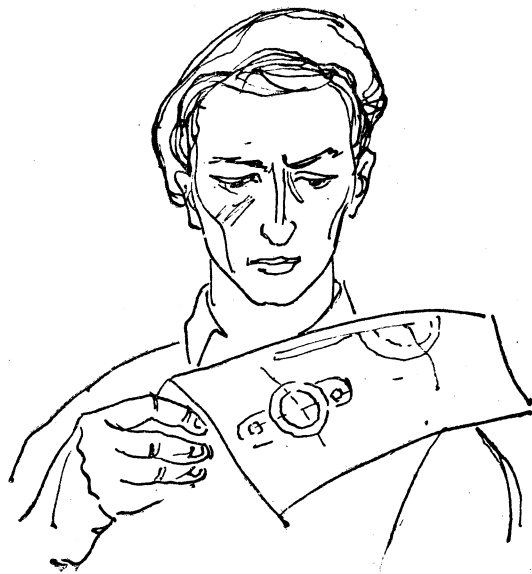
Он нахмурился и так крутанул штурвал задней бабки, что с него брызнуло эмульсией.

— Не нравится.

Видя, что я все еще не отохожу от его станка, он показал мне на своего соседа:

— Вон с ним поговорите. Он много интересного расскажет.

Больше мы в тот день не разговаривали. Я просто стоял рядом и смотрел, как он работает. Девушка из планово-диспетчерского бюро принесла ему новое задание. Рогашников уткнулся носом в чертеж, пошевелил белесыми бровями, схватил лежавшую на полу болванку, вставил в патрон, затянул покрепче и стал обрезать заготовку. Вдруг отвел резец, освободил кулачки патрона и помчался куда-то с болванкой в руке. Вернулся в сопровождении мастера и той девушки, что принесла ему заказ. Все трое склонились над чертежом, заспорили. Из-за шума станков я не расслышал ни слова. Но только вскоре, смотрю, мастер уже согласно закивал головой, и они с Рогашниковым снова куда-то ушли. Через минуту Рогашников притащил на плече другую болванку.



ку и, нервно прикусив губу, принялся устанавливать ее на станок. Отрезал шесть бабашек, выставил на тумбочке в ряд и стал по очереди обрабатывать — операция за операцией.

Назавтра была суббота, нерабочий день. Я решил съездить за город, просто побродить по лесу. На автобусной остановке кто-то тронул меня за локоть:

— Здравствуйте!

Смотрю: молодой парень в элегантном темно-сером пальто, в черной цыгейковой шапке с козырьком. Знакомое сероглазое лицо с ястребиным носом и тонкими нервными губами. Да ведь это Рогашников!

— Откуда?

— Из аэропорта. Друга провожал в отпуск.

— Погулять не хочешь?

— Можно.

И вот в звонкой тишине соснового бора, где не пахнет ни эмульсией, ни дымом от раскаленной стружки, где воздух для горожанина непривычно прозрачен и чист, Викентий Рогашников сам продолжил вчерашний разговор:

— Хотите знать, как я стал токарем? Кончил школу, отец и говорит: «Иди работай, хватит мне тебя кормить». А я собирался в институт поступать.

— Кто твой отец? — спросил я.

— Шофер на автокране... Ну вот, пришел я на завод. Поставили к токарному станку, учеником. Никакого желания работать у меня не было. Понимаете, когда ничего еще не умеешь, любая другая профессия кажется привлекательнее. Я ходил за мастером и начальником цеха и просил перевести меня в слесарное или расточное отделение. Я говорил им: «Все равно не буду токарем!» Не перевели. Тогда не хватало токарей.

Со временем стало у меня получаться. Сдал на разряд. Один раз перевыполнил норму, другой раз, третий... Понравилось, знаете! Весело даже стало. Дадут мне заказ, я за час до конца смены его оттяпаю и — к мастеру: «Кончил!» Тот головой качает: «В ОТК приняли твою работу?» — «Приняли!» — «Ну ладно, прибирай станок, больше пока работы нет». Свысока так поглядываю на товарищей, которые еще не управились со своими заданиями.

И вот однажды подошел ко мне Федор Михайлович Потапов, постоял возле станка, потом взял обработанную мною

деталь, взвесил ее в руке и сказал: «Ты научился делать быстро. Молодец. Теперь научись делать хорошо». Он был прав. Я стал токарем лишь тогда, когда научился делать хорошо. Не для контроля, а чтоб взял в руки деталь — и было радостно на нее смотреть и чувствовать, что это не просто деталь, а твое изделие, твое самоутверждение в звании человека... Вот у нас в цехе на самом видном месте висит доска показателей. Я видел, как вы, проходя мимо нее, всякий раз останавливались и с глубокомысленным видом рассматривали цифры. Иногда переписывали некоторые из них себе в книжечку...

Это правда. Несколько дней я ходил по цеху, приглядываясь к людям, стоящим за станками. Познакомившись с одним, с другим, я затем сверял свои личные впечатления о человеке с цифрами на доске показателей. Эти цифры иногда настораживали, а чаще убеждали в правильности первоначально сложившегося мнения.

— А мне довольно посмотреть на стружку, и я уже могу сказать, что за токарь работает на станке, — Рогашников взглянул на меня так, словно бы мы играли с ним в шахматы и он шутя поставил мне мат, — с широкой, снисходительной улыбкой более сильного игрока. — А еще красноречивее говорит о человеке инструмент, которым он работает: если у токаря резец тупой, значит, он его не жалеет, а не жалеет потому, что душа его не лежит к работе. Он может выгнуть и полторы, и две нормы, но радости никогда не испытает...

Помолчав, Рогашников вдруг спросил:

— А вы обратили внимание на девушку в зеленой косынке — ее станок во втором ряду, у стены?.. Это ученица. Всего два месяца, как пришла к нам в цех. Обычно ученики работают как бы вслепую, грубо — ни навыка, ни чутья у них нет. А эта чувствует металл...

Я сперва думал, что она — его ученица. Уж больно часто Викентий подходил к ее станку, что-то подсказывал, показывал, а иногда возьмет у нее резец, сам заточит.

Оказывается, ее учителем считается «крутой» токарь, а Викентий помогает ей просто так, по-товарищески.

— ...Раз подзывает меня: «Погляди, Кеша, как блеснит торец...» И правда, красиво у нее получилось.

...В понедельник я подошел к станку, за которым она работала. Ее звали Катей. У нее были яркие темно-карие глаза, улыбчивый белозубый рот и ямочки на щеках. Зеленая с золотой искрой косынка. Сама высокая, стройная. Да что там — просто красавица. Поступала в институт, да не прошла по конкурсу.

— А почему — токарем? — спросил я.

— Да я в школьной мастерской на токарном станке работала.

— И скоро на разряд думаешь сдавать?

— Когда скажут. Могу хоть сейчас.

— Готова?

— Так ведь я выполняю работу по второму и даже третьему разряду. Правда, еще медленно. А так — чисто.

Я смотрю на вращающийся прут. Мелкой сечкой сыплется из-под резца стружка. Лучезарно блестит обработанная поверхность. Но вот Катя тронула пальцем кнопку «стоп», отвела назад резец, и я увидел, что вся деталь словно бы облеплена мелкими чешуйками.

Катя покраснела и быстро-быстро захлопала длинными ресницами.

— Что, не получилось? — спросил я.

Она не ответила и как-то беспомощно, растерянно оглянулась на Викентия Рогашникова. А он словно только и ждал этого ее призыва — выключил свой станок и поспешил на помощь.

— Надо подачу увеличить.

— Я пробовала. Греется.

Он сам встал за ее станок. Низко-низко склонился над суппортом. Тонко запел резец. Катя стоит сбоку, внимательно смотрит. Смущенно улыбается.

Рогашников порывисто вскинул голову, выключил станок. Клепнястыми руками ухватил еще горячую, зеркально сияющую деталь.

— Увеличь подачу, — сказал он опять и, расставив в стороны острые локти, устремился к своему станку.

Снова закрутился прут. Со свистом поплыл по нему резец, оставляя за собой серебристое сияющее поле.

Но едва свист оборвался, как серебристое сияние потускнело. Я потрогал пальцем горячий металл. Затем украдкой посмотрел на деталь, которую выточил Рогашников. Та же подача, тот же резец. «Руки только другие», — подумал я и покачал головой:

— Не получается.

У Кати чуть дрогнули уголки рта. К

переносью сбежались морщинки. Она мне ничего не ответила. Снова пустила станок, стала точить другую деталь. Резец на этот раз не свистел, а пел — не так приятно, как у Рогашникова, но все же пел. И деталь получилась хоть и не столь безукоризненной, однако можно было уже не стыдиться. И Катя положила ее рядом с той, которую выточил Рогашников.

А он уже опять стоял за ее спиной. Катя, как бы оправдываясь, что-то негромко и быстро стала ему говорить, изредка поглядывала на меня. Мне показалось, что я тут совершенно лишний. Сделав вид, будто вспомнил о чем-то очень важном, я быстро направился в планово-диспетчерское бюро. В дверях я оглянулся. Рогашников и Катя, как ни в чем не бывало, уже стояли каждый за своим станком.

Когда заводской гудок оповестил о конце смены и гул станков в цехе утих, я снова прошел к токарям. Рогашников приводил в порядок станок — сметал в корыто стружку, протирал масляной тряпкой суппорт и станину, складывал в тумбочку инструмент.

— Как поработалось? — спросил я.

Викентий что-то буркнул в ответ. Он явно был не в настроении: губы плотно, добела сжаты, кепка надвинута на самые глаза.

Я поглядел в сторону слесарного отделения. И увидел Катю. Она стояла у тисов, за которыми работал высокий смуглый парень. Он разбивал зубилом



стальное кольцо, чтобы высвободить накатанный на него медный ободок. Но вот он бросил зубило и молоток и взял Катю за руку. Что-то сказал ей. Она засмеялась и сделала движение, как бы собираясь уйти, но парень не отпускал ее. Она попыталась высвободить руку, но видно было, что ей не хочется уходить. Наконец, парень снова взялся за молоток, а Катя все не уходила.

Рогашников вымыл руки и стал надевать пальто.

— Домой? — спросил я.

— Куда же еще... — буркнул он.

Мы молча направились к выходу.

Когда проходили мимо слесарного отделения, Рогашников даже не посмотрел на Катю.

Мне было от души жаль его. Хотелось сказать ему какие-то добрые слова. Но что тут скажешь?

Неожиданно Викентий прервал тягостное молчание.

— Можно вам дать один совет?

— Конечно! — обрадовался я.

Он медлил, глядя на меня строго и одновременно снисходительно. Затем, собравшись с мыслями, принялся меня отчитывать:

— Когда вы разговариваете с учеником, не забывайте, пожалуйста, о его самолюбии. Ну... не делайте ему обидных замечаний. Он и сам знает, что у него не все получается, как надо, а тут еще вы...

Я понял, что речь идет о Кате.

— Что же я ей такого сказал?

Рогашников уклончиво ответил:

— Ну, если не говорили — будем считать, что инцидент исчерпан.

Он заметно повеселел, словно освободился от тяготивших его тревог.

В это время сзади послышались быстрые шаги. Мы с Викентием обернулись как по команде. Нас догоняла Катя. Рогашников улыбнулся ей.



Заводские инженеры внесли в конструкцию машины маленькую поправку: одну очень сложную в изготовлении стальную деталь, под номером 2119, заменили текстолитовой. Соседний пластмассовый завод согласился

прессовать эту деталь в любом количестве, но при одном условии: пресс-форму должен изготовить сам заказчик.

В инструментальном цехе работают слесари-универсалы высокой квалификации. Любой инструмент — будь то штамп какой угодно сложной конфигурации или гидравлический привод для станка-автомата новейшей конструкции — все, что хотите, могут выпилить и собрать.

Но никто не спешил взяться за изготовление формы для прессовки текстолита: дело непривычное, незнакомое. Тут недолго и опростоволоситься, а каждый слесарь-универсал дорожит своей репутацией и цену себе знает.

И так получилось, что в тот же день,

когда в цех поступил заказ на изготовление пресс-формы, к начальнику цеха явился небольшого роста, довольно тщедушный на вид парень с умными живыми глазами и маленькими черными усиками.

— Примете на работу? — спросил он.

Евгений Алексеевич глянул в документы — слесарь шестого разряда. Три дня как уволился с пластмассового завода по собственному желанию.

— А все-таки?.. — прищурился на него Евгений Алексеевич. — Если это, конечно, не секрет...

Парень — звали его Пироговым Борисом Михайловичем — переступил с ноги на ногу и слегка развел руками:

— Бывают обстоятельства. Но можете не беспокоиться — не пью и даже не курю...

Начальник цеха написал резолюцию: «Принять». На другой день Пирогов стал на рабочее место у тисов и сразу — за дело. Евгений Алексеевич распорядился дать ему для пробы работу той сложности, которая соответствовала бы шестому разряду. И всякий раз, проходя мимо слесарного отделения, начальник цеха краем глаза наблюдал за Пироговым. Тот стоял спиной к проходу, чуть ссуту-

лившись. Небыстрый в движениях, он производил впечатление копуши: попилит, попилит — остановится. Еще попилит — и снова долго-долго всматривается в металл. Раздумывает. На других слесарей — ноль внимания. Как будто он один тут, в слесарке. «Нелюдим», — решил Евгений Алексеевич. Но в обеденный перерыв он увидел Пирогова в окружении гогочущих парней: уже успел найти общий язык. А потом опять — как встал Пирогов за верстак, так словно прилип к нему. В конце смены сдал мастеру работу. Выполнил он ее безукоризненно и, главное, уложился в срок.

И тогда Евгений Алексеевич, посоветовавшись с мастером, решил поручить новичку изготовление пресс-формы.

— Сделаешь? — спросил он у Пирогова.

Тот перебрал ухмылочку из одного угла рта в другой:

— Четыре года делал, — развернув чертеж, пробежал по нему взглядом.

— Сколько тебе времени надо? — спросил опять Евгений Алексеевич.

— А сегодня у нас что, понедельник? Ну, в пятницу будет готово.

— Договорились!

Евгений Алексеевич тут же поднялся к себе в кабинет и позвонил главному инженеру завода. Сказал, что в понедельник утром пресс-форму можно будет отправить на пластмассовый завод. Главный инженер выразил удовлетворение, но просил иметь в виду, что он берет пресс-форму под свой личный контроль.

В пятницу днем была готова только матрица. Когда после обеденного перерыва начальник подошел к Пирогову, тот молча разглядывал совсем не обработанный еще после расточного станка пуансон, похожий — если смотреть сверху — на паука с шестью ногами разной длины и толщины. Тут же на верстаке лежала только что доставленная из термитного отделения массивная стальная плита, в которой соответственно с формой пуансона, сделан был сквозной вырез — такой же паук, с теми же шестью лапами.

Час тому назад был звонок от главного инженера: на машину, которую выпускает завод, устанавливаются новые цены, с учетом использования пластмассы.

— Если в понедельник утром пресс-форма не будет готова — прогорим...

Вполне понятно, что Евгений Алексеевич нервничал, хотя внешне держался, как всегда, спокойно и корректно.

— Подвел ты меня, Борис, — вздохнул он, — ой, как подвел!

«Хвастун ты, Борис! — негодовал он про себя. — Выскачка! Да и я хорош — надо было тебя еще проверить...»

Пирогов осторожно опустил стального паука на верстак, на расстеленную масляную тряпочку, и поднял виноватые глаза.

— Не рассчитал маленько. Вчера голова болела. Прямо раскалывался затылок...

«Я бы тебе расколел одно место!» — подумал Евгений Алексеевич. А вслух участливо спросил:

— Захворал, что ли?

— Гипертония, — глухо молвил Пирогов. — Второй год — спасу нет.

— Вроде — молод еще для такой болезни.

— Молод, это точно, — скорбно согласился Пирогов.

— Да... дела, — протянул Евгений Алексеевич. — Ну, а как же все-таки мы с тобой будем эту кашу расхлебывать? — он кивнул на пуансон.

Пирогов задумался. Евгений Алексеевич терпеливо ждал, что он скажет.

— Еще денек бы надо...

— Завтра — суббота, — напомнил Евгений Алексеевич. — Послезавтра — воскресенье, а в понедельник утром пресс-форма должна быть готова...

— Понимаю, — покивал Пирогов. — Что ж, придется в субботу поработать. Раз надо.

Евгений Алексеевич сразу почувствовал огромное облегчение. Этот парень опять уже ему нравился. «Оплачу сверхурочные сполна», — подумал начальник цеха.

— А можно, я приду завтра часов в шесть утра, чтоб уж наверняка успеть к вечеру? — спросил Пирогов.

— Давай приходи, — разрешил Евгений Алексеевич, прикидывая в уме, сколько времени потребуется на закалку пуансона — нужно и тут успеть...

Вечером ему снова позвонили от главного инженера.

В субботу Евгений Алексеевич поднялся, как в будний день, — без четверти семь. Выпил стакан холодного чая и отправился на завод, испытывая какое-то необъяснимое душевное беспокойство.

Не то чтобы он засомневался в Пирогове, — просто надо было непременно своими глазами посмотреть, как идет работа. Кто знает, может, опять эта самая гипертония, будь она неладна...

В цехе было пусто и тихо. Тускло светила под потолком контрольная лампа. Евгений Алексеевич прошел в слесарное отделение. На верстаке у Пирогова лежал, слегка опиленный еще вечером, пуансон. Слесарный инструмент был заперт в тумбочке.

Где-то далеко пропикало восемь часов. Евгений Алексеевич подождал еще немного и, вконец подавленный, расстроенный, отправился восвояси. По пути решил завернуть в кузнечно-прессовый цех, перетолковать об одном деле. Уже сидя в кабинете у начальника кузницы и пережидая, пока тот отвечал кому-то по телефону, Евгений Алексеевич случайно глянул в окно и увидел идущего по заводскому двору своей небыстрой походкой Пирогова. Он направлялся прямой дорожкой в свой цех. Евгений Алексеевич вскочил со стула и рванулся было к двери — хотелось догнать Пирогова («Проспал, злодей!..») и хорошенько пристыдить его. Но тут же взял себя в руки, подумал: парень и сам, поди, чувствует свою оплошность. Раз обещал — сделает. До вечера не успеет — ночью посидит. И решил Евгений Алексеевич, что будет лучше, если он проведает Пирогова после обеда, часа так в два, в три. К этому времени уже все станет ясно.

Когда он в половине второго прибежал в цех, там было так же пусто и тихо, как и утром. Только теперь весь корпус был залит ярким солнечным светом. Евгений Алексеевич передернул плечами, словно ему за воротник попало что-то холодное. «Так... — подумал он, — так...» и хотел было повернуться и пойти прочь, но потом все же решил заглянуть в слесарку: приходил или не приходил Пирогов? Ведь не мог же он обознаться! Если приходил, то куда делся?

Едва глянув на рабочее место Пирогова, Евгений Алексеевич понял, что слесарь тут уже побывал: пуансон исчез с верстака вместе с тряпочкой, на которой лежал. А тумбочка, где хранился инструмент, была, как и утром, на замке.

«Что за наваждение?» — Евгений

12 Алексеевич снова почувствовал неприятный холодок на спине. Он не знал, что

и подумать. В самом деле: ну для чего понадобилось Пирогову забирать с собой пуансон? Что он, дома его доделывать решил? Ерунда какая-то...

Евгений Алексеевич вспомнил, что к пяти часам должен подойти рабочий термичного отделения — специально затем, чтобы закалить пуансон. «Надо хоть записку оставить — пусть идет домой».

Термичка находилась в этом же корпусе, в подвальном помещении. Евгений Алексеевич спустился по скользкой от намерзшего на ней льда лестнице, на ходу нащупывая в кармане записную книжку и карандаш. Вырвал чистый листок, написал размашисто несколько слов и поискал глазами, куда бы положить записку, чтобы рабочий сразу ее нашел. И вдруг остолбенело замер: возле печи, к которой он собирался прикрепить листок, на железной этажерке, лежал злополучный пуансон. Евгений Алексеевич схватил его обеими руками, стал рассматривать, не веря глазам: пуансон был совершенно готов. Аккуратно опиленный, он поблескивал всеми гранями... Евгений Алексеевич положил его на место, порвал записку и побрел домой.

Весь этот и следующий день он был в дурном расположении духа. О происшедшем он старался не думать, но нет-нет, да и кольнет в мозг остро, до боли: «Каков! Это надо же!..»

— Он что, не так сделал этот самый пуансон, как нужно было?—спросил я у Евгения Алексеевича.

Начальник цеха сидел, уперев локти в стол, а подбородок — в кулаки. Он смотрел на меня с легким прищуром, как бы говоря: «Ну неужели сам не понимаешь, в чем тут дело?»

— К пуансону — никаких претензий не было. Работа отличная. Больше скажу: золотые руки у парня. Только сам он, извините за выражение, дерьмо. А точнее — рвач. Понимаете: мог еще в пятницу все кончить, но ведь за сверхурочные идет двойная оплата!

— В какую он смену сегодня?—спросил я: мне хотелось поглядеть на этого самого Пирогова.

Евгений Алексеевич покачал головой:

— Он месяц как уволился. Уехал куда-то. Кажется, в Среднюю Азию. А жаль — хороший слесарь.

— Вы с ним после того случая беседовали?

— Нет. Он, наверное, и сейчас не дозревает о том, что был пойман с поличным. Я даже сверхурочные ему выплатил за все десять субботних часов. Только не думайте, что я такой уж добренький. Просто мне омерзительно было с ним



Земля была черная, как ночь, а вокруг разливалась дымчатая голубизна небосвода. С земли, из двух противоположных точек на ее поверхности, протянулись по небу, закручиваясь спиралями, серебряные ниточки — следы недавно стартовавших космических кораблей.

Немного погодя четкий рисунок спиралей стал расплываться, он как бы таял на глазах: космические корабли улетели в неведомое.

А сперва это был невзрачный на вид кусок металла — покрытый бурой окалиной диск с дыркой посередине. Матрица пресс-формы для штамповки шайб.

— Ну-ка, погодите!.. — Игорь стал рядом со мной и со стороны поглядел на вращающуюся деталь. — Красиво! — и с удивлением покачал головой: — А я как-то не обращал внимания. Ну, шлифую и шлифую... И правда, голубая она, сталь-то!

Он опять стал на свое место. Из черного зева матрицы вырвался сноп искр, озарив пламенем красивое мальчишеское лицо. Брови прихмурены. Губы слегка вытянуты в трубочку.

Выключив станок и отведя в сторону корундовый диск, Игорь потрогал подушечкой среднего пальца внутреннюю поверхность детали. На мгновение замер, словно прислушиваясь, — напряженно и вдумчиво — к какому-то одному ему ведомому голосу. Еще раз провел пальцем по каленой стали, покачал головой и включил станок — еще несколько микрон надо снять. Снова заплясали блики на его неподвижном, будто окаменевшем в напряженном ожидании лице. Стоп!.. Стрелка индикатора дрогнула, отошла на несколько делений в сторону и вернулась на место.

разговаривать. Может, я и неправ. Но вы поймите: я ведь тоже человек! И — довольно об этом, — Евгений Алексеевич встал. — Идемте, я вам другого парня покажу. Думаю, что он вас заинтересует...

— Ну что? — спросил я.

— А — все!.. — Игорь уже вынимал деталь из патрона.

На его станке крупными буквами выведено: ФИНИШНЫЙ. Это вот что означает: если Игорь сказал «все» и снял деталь со станка, то теперь уже никто — ни мастер, ни начальник цеха, ни даже сам директор завода — не могут что-либо изменить или поправить. Теперь только технический контролер еще раз проверит деталь индикатором и произнесет свой окончательный, не подлежащий никакому обжалованию приговор. И если шлифовщик, не дай бог, испортит деталь, то обратится в ничто вложенный в нее труд многих — токаря, фрезеровщика, расточника, слесаря, термитчика...

Игорь, как и Рогашников, пришел на завод после школы.

— Как выбирал профессию? Да никак. Пошел в горисполком и получил направление на металлургический завод. На обратном пути встретил товарища — вместе в драмкружке занимались при Доме культуры станкозавода. Он на этом заводе уже два года работал. Показал я ему свое направление. Он напустился на меня: «Эх ты, говорит, летун!» — «Почему это летун?» — спрашиваю. «А почему не на свой завод поступаешь?» — «Да не все ли равно, где работать?» Он так и присел: «Рехнулся, что ли? Разве можно сравнивать металлургический с нашим заводом? Мы же растем! Знаешь, какой инженерный корпус грохают по новому проекту? В десять этажей! Небоскреб! На самом Уралмаше такого нет!.. Погоди, я завтра поговорю с начальником цеха — пойдешь к нам, в инструментальный!..»

На другой день Игорь опять явился в исполком, попросил переписать направление. А потом — на завод.

— Вошел в цех — растерялся. Станки гудят, все дрожит, свист какой-то из глубины корпуса тянется. Стою в дверях, не знаю, куда двинуться. Тут женщина одна подошла ко мне, спрашивает: «Тебе кого надо?» Повела она меня, прямо вот так,



за руку, на антресоли, за стеклянную перегородку. Там за столом сидел мужчина в синем халате и что-то писал. «К вам, Евгений Алексеевич!» Тот поднял голову, а я разинул рот от удивления: начальником-то оказался известный всему городу человек — судья республиканской категории по футболу! Сколько раз я требовал отправить его «на мыло»!..

Поставили Игоря сперва на малый станок. Несколько дней шлифовал ножи. Работа пустяковая — стой да смотри. Всего две кнопки — «вкл.» и «выкл.». И две рукоятки. Через несколько дней перевели на большой станок. Там этих кнопок и рукояток была целая пропасть. Три дня со стороны только смотрел, как за этим станком работала опытная шлифовщица Катя Максимова. Потом Катя доверила ему самому сделать подшлифовку. Вскоре она перешла в другую смену, и Игорь стал работать самостоятельно. Еще через некоторое время его поставили на внутреннюю шлифовку — вот на этот «финишный» станок. Самый ответственный и самый сложный вид шлифовки. Уже полтора года он тут.

— Игорь, — спросил я. — А вот, допустим, предложили бы тебе сейчас перейти на токарный или на расточный станок?.. Нет, погоди, дослушай до конца: допустим, тебе сейчас предстояло бы выбрать профессию, и ты еще никакой не шлифовщик, но уже знаешь, что такое шли-

фовка и чем она отличается от того же токарного дела...

— Понял вас, — снисходительно улыбнулся Игорь. — А теперь послушайте, что я вам расскажу. Вы знаете нашего токаря Потапова Федора Михайловича? Он сегодня во вторую смену. На всем заводе другого такого токаря нет...

Ну, конечно, я знал Федора Михайловича: это его-то и назвал Рогашников профессором и колдуном.

— Так вот, — продолжал Игорь, — с некоторых пор стал я замечать: проходит Федор Михайлович мимо — непременно остановится у моего станка и чего-то смотрит, смотрит... Ну, мне интересно — я и спросил как-то: «Дядя Федя, уж не думаешь ли ты переквалифицироваться? Может, в шлифовщики захотелось?» А он так серьезно, с какой-то даже тоской в глазах и говорит: «Я бы пошел на твое место, Игорь». — «Да ну, — говорю, — шутишь, дядя Федя!» — «Нет, Игорь, не шучу. Вот только не отпускает меня начальник с токарного станка. Я уже разговаривал...» Он, и правда, всерьез. Надоело, говорит, токарем — все, что можно было, выжал из своей профессии, а душа требует чего-то еще. «Смотрю, — говорит, — как ты пальцем микроны щупаешь — так прямо завидки берут...» Ну, что? — Игорь смотрел на меня выжидательно.

Я молчал. Я был ошеломлен. «Не может быть, — думал я, — чтобы Потапов так вот по-мальчишески изменил делу, которому отдал несколько десятков лет своей жизни. Изменил после того, как стал лучшим на заводе токарем, «профессором токарных наук»... Знает ли Рогашников об этом? Наверное, нет...»

Пока мы разговаривали, Игорь отшлифовал две втулки и отнес их к столу технического контроля. Подошел мастер и стал надевать втулки на концы штыря. Одна легко и плотно села на свое место, а другая застряла на полпути. Мастер осторожно постукал по ней молотком. Втулка немного подалась и снова застряла. Мастер, все так же легонько постукивая молотком, снял ее. Контролерша взяла втулку, стала обмерять индикатором. Подошел начальник цеха...

Игорь выключил станок и, уперевшись обеими руками в станину, следил за действиями мастера и контролерши. Я видел, как на верхней губе его выступили мелкие бисеринки пота.

Все дело было в штыре. Его немного подшлифовали, и вторая втулка тоже была посажена на место.

— Ты думаешь — в брак пойдет? — спросил я у Игоря.

— Нет... Брака не могло быть.

— А чего же ты так вспотел?

Игорь смущенно улыбнулся:

— Сам не знаю. Гляжу — что-то там не ладится. Ну, и не по себе маленько стало. А брак... Откуда ему быть? Я же сам проверяю свою работу, когда сдаю...

— Неужели у тебя совсем не бывает брака? — спросил я.

Игорь устанавливал на станок новую деталь. Несильно зажав ее в кулачках патрона, он постукивал по ней медяшкой, чтобы она стала точно по центру. Но всякий раз, когда Игорь проворачивал рукой патрон, было видно на глаз, что центр детали смещается.

— С характером попалась. Придетесь индикатором...

Наконец, деталь установлена, станок включен. Золотой струей брызнули искры. А на темно-буром куске металла начала прорисовываться голубая полоска. Она становилась все шире и шире, и по ее голубизне закручивались белые спирали...

Продолжение разговора состоялось во время перерыва, по дороге в заводскую столовку.

— Был у меня один случай недавно, — сказал Игорь. — Дали обрабатывать партию втулок. Быстренько отшлифовал, отнес втулки на стол ОТК, принимаюсь за другую работу...

И тут к нему подходит сам начальник цеха. Втулочку в руке вертит:

— Ну что, Игорек, сделал работу?

— Сделал, Евгений Алексеевич.

Начальник цеха смотрит с интересом.

— А тебе известно, что ты запорол всю партию?

Игорь глазами захлопал:

— Как так — запорол?..

— Фасочку не отшлифовал, — Евгений Алексеевич протянул ему втулку, провел указательным пальцем по фаске. — Забыл?

Игорь продолжал хлопать глазами:

— Так, Евгений Алексеевич! Разве фаску надо было мне шлифовать?

Поглядел в чертеж и обмер: оказывается, надо. «Как же это я?..»

Эти две операции можно производить только «с одного установа»: отшлифовал

внутреннее отверстие втулки, надо было тут же, не снимая ее со станка, лишь развернув бабку, пройти камешком по фаске. А второй раз установить деталь практически невозможно...

На другой день Игорь видел, как Кеша Рогашников заново вытачивал на своем станке эти самые втулки. А на третий день они, уже покрытые бурой окалиной, вторично поступили на шлифовку.

— На этот раз сделал все как надо? — спросил я у Игоря.

— Сделал, — кивнул он. — Только этим не кончилось. В конце месяца собрание было цеховое. И начальник цеха завел разговор о бракоделах. Сперва так, в общих словах. Но я уже знаю его — в конце обязательно назовет несколько фамилий. Сижу и думаю: неужели и меня помянет? Понимаете — и боюсь, и в то же время мысль в голове: ведь не такой бракодел я, чтобы говорить обо мне на общем собрании. Первый раз допустил промашку. Вот как вы считаете — надо было позорить меня, если я и так несколько ночей не спал, переживал все?..

— Ну, и что же начальник цеха? — уклонился я от ответа.

Игорь усмехнулся:

— Оpozорил все-таки. «Ты, — говорит, — Игорь, не ерзай, все равно скажу, как ты партию втулок запорол...» И давай, и давай!.. Что самое обидное: никого больше не назвал, и получилось так, будто я единственный в цехе бракодел. Ну скажите, это справедливо?

И опять я уклонился от прямого ответа. Дело в том, что познакомился с Игорем мне посоветовал все тот же Евгений Алексеевич: «Настоящий кадровый рабочий. Не смотрите, что молод...»

И решил я теперь снова поговорить с начальником цеха, спросить про тот случай.

— Было, — сказал мне Евгений Алексеевич. — Подвел он меня тогда крепко. И что бы другое, а то — простая невнимательность, не удосужился чертеж как следует прочитать. Это и новичку непростиительно. Верно, с кем не случается. Но тут у меня еще одно соображение было. Очень уж круто пошел мой Игорь вверх по общественной лестнице: избрали в заводской комитет комсомола, а потом еще и в обком профсоюза! Откровенно говоря, я стал бояться за парня — как бы не зазнался. А тут и случись у него история со втулками... Что он

ночи не спал, переживал — это ничего. И на меня пускай пообижается. Зато я веру в него не потерял. А знаете, как это тяжело — терять веру в человека?..

«Кто этого не знает», — подумал я. И тут вспомнил про токаря Потапова.

— Евгений Алексеевич, это правда? — спросил я.

— Правда, — сказал начальник цеха. — Приходил он ко мне, просился на шлифовальный станок.

— А вы?..

Начальник цеха пожал плечами:

— Не пустил. Нет у меня пока что другого такого токаря. А так — отчего же и не перевести бы, если просит...



Со стороны посмотреть — человек играет в кубики, строит из них дом. Только кубики — стальные, поэтому и дом тоже получается стальной. Верхняя плита, с пуансоном, — эта крыша. Нижняя, с матрицей, — фундамент. Подставки смахивают на стрельчатые окна.

— Так... так... Минус... минус... четыре сотни... — Иван Емельянович постучал медяшкой по ребру верхней плиты. — Так... Минус три... Плюс две... — он еще постучал. Стрелка индикатора-центроискателя запрыгала. — Что за штука?.. Ага, поймал! Сотка... — он обернулся к чертежу, посмотрел, вставил в патрон пружинный центр, провернул планшайбу. — Сейчас усики сделаем... — склонившись над чистой тетрадью, он начинает высчитывать координаты: — Двести сорок три, семьсот двадцать шесть... сорок, восемьдесят... двести два, восемьсот сорок шесть...

Он нажал на пусковую кнопку, раздался звук, похожий на свист ветра, и траверза станка стала перемещаться. Вот найден центр отверстия. Иван Емельянович вставляет сверло — пока небольшого диаметра.

От сверла идет легкий белый дымок. Стонет металл. Чем глубже входит в него сверло, тем гуще дымок. Вот снизу, из-под плиты, вырвались белые клубы —

Я стоял на своем:

— Да, но как это выглядит с моральной стороны?..

Мне было удивительно, что начальник цеха не усмотрел главного в поступке токаря — моральной стороны дела.

— Очень просто выглядит, — ответил мне Евгений Алексеевич. — Он выжал из токарного станка все, что мог, — просто уму непостижимо, какой точности он добивается на самом обыкновенном токарном станке. Иной раз кажется, что и шлифовать после него не надо. А Потапову и этого мало. Ему хочется большего. Еще большей точности. Разве можно его судить за это стремление?

отверстие готово. Теперь надо взять другое сверло, вдвое большего диаметра.

В это время Иван Емельянович замечает возле своего станка грузную фигуру Толи Маркова. Толя стоит с замасленным чертежом в руке; молча смотрит куда-то мимо Ивана Емельяновича прозрачными голубыми глазами. Заметив на себе взгляд Ивана Емельяновича, спрашивает:

— Сейчас мне что, на девяносто градусов разворачивать?

Иван Емельянович берет у него чертеж, объясняет. Толя смотрит, морщит кожу над переносицей.

— А что, шпинделем не надо?

— Так я тебе и говорю — шпинделем!

— А... — кивает Толя и уходит. Его большой станок — в основном помещении цеха, за стеной. А здесь, в самом расточном отделении, стоят три станка поменьше, предназначенные для особо точной работы. Один, правда, совсем уже старенький, давно пора на металлолом. На нем работает Гена Толмазов, ученик. Он только что со службы. Ворот спецовки нараспашку — чтоб матросскую тельняшку все видели. У другого станка возится Сергей Наволошников, тоже когда-то, лет пять назад, был учеником Ивана Емельяновича. Все тут его ученики. И Толя Марков тоже. Вот он опять уже зачем-то идет...

— Две сотни хватит?

Иван Емельянович недовольно вскидывает голову:

— А ты смотрел, как там по техусловиям?

— Нет...

— Так посмотри же!

...От большого сверла дым валит, как из трубы паровоза. Сверло рычит, глухо и злобно. Иван Емельянович смотрит, склонив голову набок. Затем останавливает станок, проверяет положение центра, и снова помещение оглашается львиным рыком, валит серый густой дым. От окна сквозь сизую дрожащую пелену протягиваются наискосок полосы солнечного света. Впечатление такое, будто здесь накурено.

«Двадцать? Нет, поболее,— считает Иван Емельянович своих учеников.— И надо же: никто из них не удержался у станка, все куда-нибудь уходят: кончат техникум или институт и — до свидания, Иван Емельяныч. Спасибо, мол, за науку. Коркин теперь в отделе главного механика — инженер, Матвеев — начальником механического цеха, Любимов — заместителем главного технолога, Севастьянов — старшим мастером на сборке...»

Иван Емельянович вынул сверло, поставил развертку. Это — последняя операция. До слуха доносится далекий протяжный гудок тепловоза. Так поет развертка, снимая слой металла толщиной в сотые доли миллиметра.

«Учишь, учишь их, а все словно бы зря».

По-прежнему некому, кроме него самого, работать на расточке: Сергей Наволошников заканчивает последний курс заочного техникума — не сегодня-завтра тоже уйдет куда-нибудь в отдел или в другой цех. Единственный, кто — Марков. За пять лет никуда не надумал поступать. Так ведь это разве расточник? Пять лет работает, а опыта все еще не набрался. Гена Толмазов хоть и ученик, а, ей-богу, соображает не хуже Маркова.

«Вот только бы учиться не надумал. Ну, хоть несколько годков погодил бы...»

...Гена в это время устанавливал на своем станке новую деталь. Иван Емельянович подошел, посмотрел. Все правильно. «Молодец ты, Гена!» — подумал про себя.

— Возьми теперь пальцевую фрезочку и обработай вот эту призму.

Гена кивнул и направился в инструментальную кладовую. Получил там нужную фрезу. Иван Емельянович взял ее у него из рук. Подержал на уровне глаз, пригляделся. Затем, словно примериваясь, приложил к призме.



— Не годится таким инструментом работать. Я тебе сейчас дам свою...

Он выдвинул из своего шкафчика нужный ящик, в котором покоились, каждая в своем гнезде, серебристо-матовые, новенькие на вид фрезы: свой инструмент Иван Емельянович берег лучше глаза.

— Во! — протянул он одну из них Гене.

Тот аж зарделся от удовольствия:

— Ну, это, конечно, другой разговор!

— Будет и у тебя такой инструмент,— пообещал Иван Емельянович.

«Только бы не поступил учиться», — опять подумал он, словно молитву прочитал, возвращаясь к своему станку.

— И что удивительно, — жаловался он мне на другой день. — В первую очередь уходят те, что потолковей. Ведь профессия расточника — самая что ни на есть интеллигентная, тут тебе и алгебру надо знать, и тригонометрию, и вообще шариками много крутить приходится, потому что каждая новая работа не похожа на предыдущую, каждую новую операцию приходится основательно обмозговывать. Иной раз, бывает, стоишь, стоишь над чертежом, и так прикинешь, и этак, половину тетради испишешь цифрами, пока не найдешь нужное решение. Да что говорить — профессия интересная. И понятно, что чем увлеченнее работает расточник, тем больше ему надо знать. Школьной науки уже ему не хватает — 17

Давай техникум или институт... Видите, как оно? Что же это получается: ну, доработаю я до пенсии, уйду на заслуженный отдых, а здесь кто останется? Марков? Кто у станка работать-то будет? Вы на Доске почета видели мою фотографию? Десять лет висит. А знаете, о чем я последнее время мечтаю? Чтобы на это место поместили портрет другого расточника. Чтобы появился на заводе такой расточник, который обогнал бы меня по всем показателям. Ведь так и должно быть в жизни: молодые должны опережать старых, они должны подняться хотя бы на одну ступеньку выше. Тогда можно будет сказать, что все в порядке.

— Может, не полюбили они по-настоящему свою профессию — вот и ушли? — предположил я.

Иван Емельянович покачал головой.

— Не скажу этого. По-моему, они и сейчас ее любят.

«Они» — это ученики его.

— Вчера заходил Женя Коркин, который сейчас в отделе главного механика работает, — продолжал Иван Емельянович. — Поинтересовался — много ли работы, не зашиваемся ли мы по случаю завершения квартального плана. Думаете, к чему это он? А вот к чему: когда у нас тут начинается запарка и у расточников не хватает рук, то наш начальник цеха просит главного механика завода откомандировать в его распоряжение Коркина — бывшего расточника шестого разряда. И тот приходит сюда как на праздник. «Я, говорит, душу отвожу за станком».

— Почему же он не останется здесь совсем?

— Ну, видите, с дипломом инженера стоять у станка... Я и сам, пожалуй, не пошел бы на это. Зачем, спрашивается, было учиться?

В углу рта папироска, глаз прищурен.

— Что это ты делаешь? — спрашиваю.

Гена с напускной небрежностью отмахнулся:

— А, слесаря напортачили, на полтора миллиметра сместили центр отверстия. Поправлять приходится...

Вот уже нет никакого отверстия, только на ответ можно разглядеть его границы. Теперь надо рассчитать новый центр, высверлить и расточить новое отверстие.

Перед Геней на столе тоже, как и у Ивана Емельяновича, лежит тетрадка, страницы которой сплошь испещрены цифрами.

Гена до армии с полгода работал в этом же цехе фрезеровщиком. Профессией своей был доволен и, вернувшись на завод, попросился опять к фрезерному станку. С неохотой согласился переучиваться на расточника, но буквально с первых же дней вошел во вкус новой профессии. Она прельстила его именно тем, что тут «много шариками крутить приходится».

Дверца его тумбочки была раскрыта, и я заметил на верхней полке, среди сверл и разверток, школьный учебник по алгебре.

— Почитываешь? — спросил я.

Он кивнул.

Я нагнулся, взял в руки «Алгебру» и увидел под нею еще один учебник, немецкого языка. Гена, смутившись, прикрыл ногой дверцу тумбочки и оглянулся на Ивана Емельяновича.

— Это мне сегодня ребята принесли, — сказал он.

— Решил готовиться?

— Решил.

— А куда?

— Пока не знаю. Наверное, в политехнический. У нас тут в городе филиал заочного отделения.

В этот момент — то ли Гена отвлекся, то ли чего-то не взял в расчет — вдруг раздался резкий скрип — как будто кто-то беспокойно заерзал на старом венском стуле.

— Гена! — закричал Иван Емельянович от своего станка. — У тебя же сверло сгорело!

Гена быстро остановил станок, поднял сверло. Оно было синее, с радужным отливом. Гена подул на него. С интересом посмотрел. Еще подул. Затем вынул из патрона.

— Сейчас заточим.

Он ушел, а Иван Емельянович, глядя ему вслед, сказал:

— Из этого парня будет толк.

Рисунки С. Киприна

Столетию со дня рождения В. И. Ленина и 50-летию Удмуртии посвятили в прошлом году свои походы следопыты республики.

Сейчас в республике создано 62 школьных музея и 140 ленинских комнат. Все они пополнились интересными экспонатами.

Десять тысяч человек посетили музей школы-интерната № 2 города Глазова. Очень много экспонатов связано здесь с именем Ильича. Члены штаба музея переписываются с людьми, лично знавшими великого вождя и его соратников, с музеями имени Ленина. Вот, например, письмо Лидии Шермановны Ялавы: «Я была связанной у Н. К. Крупской. Передавала ей секретные письма и документы, которые потом пересылались В. И. Ленину. Мой муж, Гуго Эрикович, был машинистом паровоза 293. Он дважды помог Ильичу. Первый раз перевез Ленина в Финляндию, спасая от ищеек Керенского, второй раз перевез в Петроград».

Много материалов в музее посвящено лучшим людям Удмуртии.

«Красная гвоздика» — так назвали комнату боевой славы следопыты школы № 13 города Глазова. Здесь вы можете узнать о первых пионерах и комсомольцах республики, о борцах за власть Советов в Удмуртии — Иване Соболеве, Аркадии Есипове, Тине Вершинной.

Следопыты собрали материалы о передовиках производства Глазова. Ребята участвуют в городских субботниках «Пионеры — Родине», украшают и озеленяют улицы города.

Интернациональный клуб «Глобус» Ольховской школы-интерната, Курганской области получил задание от Словацкого антифашистского музея имени Яна Налепки — разыскать участников Великой Отечественной войны, освобождавших города и села Чехословакии.

Следопыты нашли уже восемь человек, получили от них

письма, воспоминания. Бывшие войны сообщают имена своих однополчан. Вот что, например, написал из Московской области А. В. Толоков: «Я воевал в 351-й стрелковой дивизии в 24-м отдельном истребительном противотанковом дивизионе. Мы освобождали город Моравска Острава. Помню имена своих однополчан: командира дивизиона майора Шевченко, рядового Ивана Кочетова, старшего сержанта Котковского. Если вы, ребята, найдете их, сообщите и мне».

Первые материалы следопыты уже отправили в Словацкий музей.

Необычная встреча состоялась в Кетовском школьном краеведческом музее (тоже Курганская область). В гости к следопытам пришли люди, жизни и деятельности которых посвящены материалы на стендах и в витринах музея. И о чем бы ни рассказывали в этот день юные экскурсоводы: о далеком прошлом своего села, о создании первых партийных и комсомольских ячеек, об участниках Великой Отечественной войны — все было близко и дорого гостям.

Присутствовала на встрече Васса Андреевна Рохлина — член коммуны «Луч Сибири». Ее отец, Андрей Никитич, был секретарем партийной организации коммуны; а ее двоюродного брата коммунара Антона Федоровича Рохлина в 1921 году во время кулацкого мятежа зверски замучили бандиты. О дорогах сердца людям — муже Дмитрии Трофимовиче Кардаполове, погибшем от рук кулаков, и сыне Геннадии, отдавшем жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны, — слушала рассказ следопытов Таисья Ионовна Кардаполова.

Гражданская война... Много об этих легендарных годах написано книг, снято фильмов, поставлено спектаклей. Но еще есть безымянные братские могилы, еще не все рассказано о боевых

действиях некоторых подразделений, о подвигах красноармейцев. «Белым пятном» до последнего времени считался и район Червишево — Железный Перебор — Анохино в Тюменской области. Следопыты школы № 26 города Тюмени решили пройти по местам боев своих земляков в годы гражданской войны в этом районе. Они встретились с участниками и очевидцами событий, разыскали неизвестные братские могилы, устанавливали имена погибших, приводили в порядок памятники и обелиски, собрали интересные документы, которые передали в Тюменский партийный архив.

Эти ребята стали победителями областного слета туристов и завоевали право участвовать в XI Всероссийском, который проходил в Ленинграде. Здесь они получили задание: пройти по маршруту Бойково — Горьковское — Семозерье — Поляны — Маяк Стирсудден, собрать краеведческие материалы о ленинских местах, о ветеранах войны и труда, лучших производственников, ознакомиться с природой и экономикой района.

Семьдесят отрядов участвовало в слете, но лучшими оказались тюменцы. Они заняли во Всероссийском слете первое место. Первые места завоевали сибирские следопыты и в соревнованиях топографов, и в конкурсе эмблем.

Раннее морозное утро. По городу Катав-Ивановску мчатся тачанки. У бойцов на шинелях красные петлицы, на буденюках — алые пятиконечные звездочки. Это комсомольцы города, члены туристского клуба «Меридиан», отправились в очередной поход.

Три года действует туристский клуб «Меридиан» в городе Катав-Ивановске Челябинской области. За большую краеведческую и пропагандистскую работу он награжден дипломом второй степени Центрального штаба Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.



ПИСЬМО ПОЭТА-ПАХАРЯ

Старшее поколение хорошо знало имя Спиридона Дрожжина, крестьянского поэта-самоучки.

Спиридон Дмитриевич Дрожжин родился в 1848 году в деревне Низовка Тверской губернии. Юношей ушел в Петербург, где служил половым в трактире. Много скитался по России, сменил множество профессий и занятий. Нужда гнала Дрожжина из столицы в Москву, Ташкент, Харьков и другие города. Он часто возвращался в родную Низовку, но голод гнал его обратно.

В 1873 году судьба свела Дрожжина с таким же горемыкой — поэтом-самоучкой Иваном Захаровичем Суриковым. В эти же годы он стал печататься. Из года в год росла известность поэта-пахаря. Его стихи народ встречал с любовью. В крестьянских избах рядом с молитвенником стали храниться тоненькие дрожжинские книжки-песенники.

Только с приходом Советской власти, которую Дрожжин встретил радостно, прекратил он скитания и обосновался в родной деревне. Там и умер он в декабре 1930 года.

До самой его смерти в Низовку шел поток писем. Дрожжину писали и старые, и молодые, слали свои стихи и просили дать совет.

Написал такое письмо и молодой паренек, библиотекарь села Шелкун Сысертского района Михаил Плотников. В 1927 году в его руки попал сборник стихов Дрожжина, и Миша наизусть заучил напевные стихи, а потом и сам стал писать. Посылал их в газету: «На смену!» в Свердловск. Руководители литгруппы «На смену!» А. Исетский и В. Ма-

каров тепло отнеслись к библиотечарю из Шелкуна, напечатали несколько его стихов. Миша стал бывать на занятиях литгруппы при редакции.

И вот как-то вечером Плотников радостный прибежал к секретарю парторганизации села Г. С. Старкову с зажатым в руке письмом: «Мне поэт-пахарь сегодня прислал письмо!» Вечером это письмо читали вслух в переполненной народом избе-читальне.

С тех пор прошло более сорока лет. Михаил Мануилович Плотников по-прежнему любит поэзию и с благодарностью вспоминает сердечное письмо С. Дрожжина. Недавно он передал его в Белоярский районный музей.

Вот это письмо:

«Низовка.

2 сентября 1928 года.

Спасибо, любезнейший внучек Миша, за твое письмо и за любовь моих песен, которые на днях государственное издательство в трех новых книжках выпускает в свет. Книжки эти называются: 1. «Песни», со статьей Н. С. Власова-Окского. 2. Второе исправленное издание «Поэт-пахарь С. Д. Дрожжин и его песни», с портретом и со статьей Белоусова. 3. «Исповедь матери», поэма из времен крепостного права в 380 стихов или строк. Книжки дешевые, и ты их можешь выписать из любого книжного магазина и прочитать».

Если вздумаешь еще написать мне и прислать свои сти-

хи, пиши не карандашом, а пером, яснее. Стихи твои посмотрю и скажу тебе об них свое правдивое слово.

В будущем или следующем месяце, как меня уведомят, государственное издательство выпускает книгу с портретами и видами моей родины под заглавием «Поэт крестьянского труда Дрожжин» в биографической серии «В помощь школьнику», написанную В. Ф. Барановым. Прочти и эту книгу о своем дедушке, доживающем 80-й год, который так много видел и не столько радости, сколько горя, и дожид до того, что ты, 17-летний юноша, узнал и полюбил вместе с ним его песни.

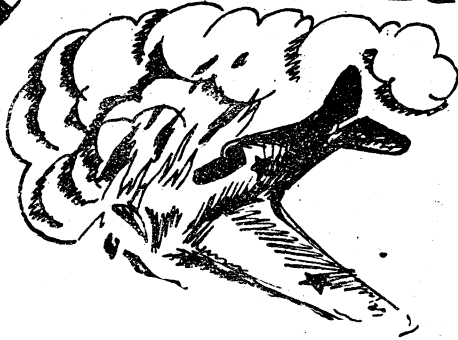
Желаю тебе такой же долгой жизни, служить честным своим трудом и знанием. Такую же любовь и внимание подобным людям твоего возраста и старикам. Адрес мой я всем ставлю на конверте. Пишу его также и тебе: ст. Завидово Октябрьской ж. д., дер. Низовка.

Твой дедушка С. Дрожжин.

П. С. Свой адрес пиши так же пером, яснее. Присланные когда-то стихи Орлова я вместе с другими стихами, не подходящими к печати разных авторов, передал в музей Пушкинского дома. Пока я жив еще, мне напишите о себе».

Арк. КОРОВИН,
краевед

СТАРОСТЁНОК



Повесть

Валентин САФОНОВ

Рисунки
С. Киприна

1.

Будто ливнем красным брызнуло — струйчатые языки пламени рванули из самолета, косыми молниями воткнулись в хмурое небо. Курносый «И-16» потерял управление, кувыркаясь, жарким березовым листом устремился к заснеженной земле. Огненные прутья жадно оплели фюзеляж, кабину, крылья.

С бычьим ревом просквозив над промерзшим лесом, оставляя за собой угарную дорожку дыма, истребитель ударился о поле. «Фонарь», сорванный с кабины пилота, покружил в воздухе и упал шагах в тридцати от самолета.

Качнулись, с дремотой прощаясь, деревья в близком лесу, сыпанули с корявых ветвей морозный иней.

Ветер из глубины леса пришел, поднял снег.

...Через полчаса или малость позже, с усталым пытением одолевая непогоду, подполз к догорающему истребителю бронированный вездеход. Машина, не доезжая до самолета каких-нибудь двадцать метров, остановилась, тупо нацелила в чадный костер дуло тяжелого пулемета.

Толстый, мешковатый офицер с изрытым оспинами лицом и два рослых солдата выбрались из броневика. Один из солдат, туго натягивая поводок, с трудом удерживал беспокойную овчарку. Второй прижимал к животу рукоять черного «шмайсера». Офицер опередил солдат шага на два, на три, шел уверенно и быстро, не вынимая рук из карманов теплой шинели. Крупная голова его на сильной короткой шее клонилась навстречу хлещущей в глаза метели, упрямо рассекала ее.

Самолет догорал. Под его обломками снег плавился, обнажилась выголь земли. В стороне на снегу отчетливо лежал копотный, глубоко вдавленный след — будто проволокли тяжелое, обгорелое бревно.

Офицер присмотрелся к следу, со-

крушенно развел руками, обернулся к солдатам:

— Ушел...

Солдат подтолкнул овчарку к копотной колее, освободил от поводка:

— След!..

Овчарка, радостно взвизгнув, побежала по колее, беспрестанно и усердно обнюхивая ее. Однако ушла недалеко. Метель колюче ударила ее в морду, в лощине колея исчезла под снегом, и собака, устыдясь своего бессилия, сознавая, что и острый нюх, и отточенное зрение не сослужат ей ныне доброй службы, жалобно заскулила, виновато помахивая хвостом.

Подбежал, наклонился над ней солдат, понюхав, коснулся пальцами в перчатках ее загривка, прикрикнул недовольно.

— Оставь, Отто, ни к чему,— одернул его мешковатый офицер, вынимая из кармана тонкую пластинку шоколада и сдирая с нее пеструю облатку.— Бедный пес не виноват, эта метель нас всех одурачила. Но и он далеко не уйдет. Метель уляжется — отыщем.

Офицер положил в рот шоколадку, сладко прижмурился, скомандовал бодро:

— В машину!

Незряче тыкаясь в навалы снега, вездоход уполз в ту сторону, откуда незадолго перед тем появился.

...И другие люди побывали у самолета в этот день. Они, приминая снег, подошли на лыжах со стороны леса, едва в метельном вихре смолк мотор вездохода.

Истребитель уже догорел, оплавился, осел на земле бесформенной грудой металла — ничто не напоминало грозную боевую машину.

Низкорослый, кривой на один глаз мужичонка в стеганой ватной куртке обежал вокруг того, что недавно было самолетом, задержался у сплющенной кабины, привстал на цыпочки, заглядывая за срез борта.

— Летчика-то, стал быть, увезли, не сгорел, стал быть,— сказал он.— Увезли, проклятые!

К нему подошел другой лыжник — долговязый, сутулый.

— Увезли, стал быть, летуна-то. Слышь, Демид. Проканителились мы,

припозднились... По следу видать — хотел уползти...

Покачиваясь на ветру, долговязый пробросил:

— Говорил вам, раззявам: давай пужанем машину. Пужанули б — смотришь, отбили б парня. Все ты, Митек...

— Как же, пужани, когда они за броней и с пулеметом... А что до летчика, так лучше б, стал быть, сгорел, чем так вышло. Истязать они его будут и все одно убьют,— со злостью отозвался одноглазый Митек.

Пятеро, сойдясь в кружок, посокрушались относительно того, что вместе с истребителем сгорел, в полную негодность пришел и пулемет, что нет уже возможности снять его и взять на вооружение.

И снова ушли в лес.

Мела, завевала за ними узко простроченный шов лыжни подгулявшая метель. Белую крупку вытряхивала на быстро стынущую грудку металла, бывшего еще сегодня красноезвездным истребителем.

2.

Панька лег на скамью, шубенкой старенькой укрылся. Овчина кислой шерстью попахивала и сладким дымком: отец в шубенке этой на рыбалку прежде хаживал, костры на льду разводил,— оттого и дымком посеичас веет.

Над Панькиной головой, в образах, лампадка неярко горела: в волость с утра уехал отец, надеялся засветло обернуться, но уже и сумерки напоззают, густея, а все нет его. Анисья, Панькина мать, и велела лампадку засветить перед спасителем: дороги ныне отчаянные, во множестве по ним всякий разбойный люд снует, так что — оборони, господи, от напастей.

Сама Анисья на печи лежала — невозможно ей оттуда спуститься, невмоготу на ноги стать. Неделя тому прошла — полоскала белье на речке да и оскользнулась с мостков, и ухнула в прорубь. Вода — льда холодней, и ветер с наволоком — лютый, северный. Ей бы в избу что мочи бежать, а она бельишко собирать начала... Заложило у Анисьи грудь — так и лежит с тех пор на печи, сама себе в тягость, и кашель сердитый бьет ее беспрерывно,

«Мчалась бы домой-то сразу да на печь, на горячую — оно бы и ничего вышло, дрожь-то унялась бы,— думает Панька, слыша беспокойное, хрипкое дыхание матери.— Разве бы я не сходил за портками да рубашками?»

Панька некоторое время смотрел на огонек лампадки, потом натянул шубенку на голову, подышал в кислую шерсть и — угрелся! А угревшись, задремал.

Пробудила его мать.

— Паня, сынок,— звала она, и хриплый голос ее то и дело срывался на кашель.— Слышь-ка, в дверь кто-то стучул. Может, Парамон Моисеич вернулся? Поди взгляни, Паня. Не приведи бог, обмерз он, вишь, как ветер высвистывает...

Иначе, как по имени-отчеству только, мужа Анисья не величала.

— Почудилось тебе,— прислушиваясь, не согласился Панька.

— Бог с тобой! — почудилось! Ятный такой стук был.

Панька вздохнул, сел на скамье, протирая глаза. За окном загустела, утвердилась ночь, и оттого синий огонек в углу стал резче и вроде бы шире: громадная черная печь наступала на Паньку, на черном же столе нечетко рисовался высокий глиняный горшок.

Вдруг и Панька услышал: скребнуло что-то в наружную дверь. Снова вздохнув, он сунул ноги в растоптанные валенки, натянул на плечи шубенку и прошлепал по кухне. Анисья слышала, как долго гремел он на крыльце засовами и щелчками, как скрипнула дверь и как стихло все за резким ветром.

Панька стоял на крыльце, и у самых своих ног, на обледенелых приступках, услышал вдруг неровное дыхание. Холодные мурашки пробежали по его телу.

— Кто тут? — негромко спросил Панька.

Дыхание у его ног стало частым и хриплым, вроде как клеткот, а Панькины глаза, по привыкнов к темноте, различили поперек крыльца похоже что человека.

И тогда он бесстрашно,— потому что испугаться Панька мог волка или иного злого зверя — не человека,— опустился на корточки, протянув руку, учуял под пальцами задубевшую кожаную одежду на чьем-то плече, и меховую шапку с длинными ушами, с пряжками из металла на ремешках ущупал, и холодные затвердевшие губы. В то мгновение, когда он

коснулся их, дыхание в человеке прекратилось.

Панька по одежде сообразил:

— Летчик будто бы. Раненый, никак, не то умер минутой!

Что делать с этой неожиданной напастью — Панька не знал. Ясно одно было: оставить человека у крыльца никак нельзя. А в избу втащить — мать до смерти перепугается. Да и мало ли что и как, в избу-то?

Тогда Панька соступил с крыльца. Метель, шебурша, заигрывала с ним, швыряла снегом в лицо.

Панька толкнул калитку в задний двор — жалобно скрипнули ржавые, давно не мазанные петли.

— Вот ведь черт неумытый,— укорил он себя,— расхлябил на ночь двор, калитку не припутал.

Однако промашка эта ныне кстати пришлась. Снова вернулся Панька к раненому не то уже мертвому человеку, наклонился над ним, подхватил под мышки и волоком потащил во двор.

— Положу на сеннике, а там видно будет. Тяжеленный, дьявол.

Пока к воротам сарая доволот Панька свою нелегкую ношу, упарился — сил нету. А уж в сарай втащил — едва на ногах держался. Пот горячими струйками щекотал спину.

— Огонь вздуть надо, посмотреть, какой он,— сам себе сказал Панька. Охлопал руками карманы шубенки — спичек не оказалось. Пришлось бежать в избу.

— Приехал Парамон Моисеич? — спросила мать, едва Панька переступил порог.

— Нет. И не приедет, видать. Там такое — куда...

— А ты чего ж замешкался так-то?

— Калитку припутывал.

Парень нашарил на загнетке коробку спичек и, зажав ее в кулаке, прикрикнул на мать, словно в какой виновности уличил:

— Ночь на дворе, а калитка настезь. Хорошо?! Ты лежи, чего тебе не лежится, а я сейчас до ветру схожу. Чего-тось живот схватывает... Я мигом.

И опрометью, через сени, во двор выскочил.

В сарае Панька снял со стены фонарь «летучая мышь», поднял толстый пузырь и фитиль прижег, загораясь огонь по-



лой шубенки. Держа фонарь над головой, огляделся и пришел в удивление: на том месте, где оставил он лежать неизвестного, никого не было. Панька в один угол метнулся, в другой — и опять никого.

— Что за оказия? Привиделось мне, что ли? — пробормотал он.

Паньке зябко стало: человека ли он тащил по снегу минут пять назад, обливаясь потом? Может, оборотень какой был, нечистая сила?

Ниже к земляному полу фонарь опустил Панька, к выходу спиной пяясь, в дальний и самый темный угол посмотрел. Кто-то негромко вздохнул над его головой. Оторопь Паньку охватила. Еще мгновение — и выскочил бы он из сарая стрелой. Но тут на полу земляном, в скудном свете фонаря, увидел он раздерганные клочки сена.

И Панька понял.

По лесенке, к сеновалу прислоненной, с трудом переставляя ноги-неслухи, влез Панька на самую верхотуру. Посветил фонарем и — откачнулся, чуть не свалился вниз, увидя нацеленное в свой лоб

дуло пистолета. Где-то там, за пистолетом, в темной глубине, свету фонаря недоступной, горели по-волчьи два зрачка: живых, пронзительно горячечных.

— Не балуй,— попросил Панька.— Слышь, кому говорю.

С неожиданной послушностью пистолет опустился в сено, и Панька, успокаиваясь, зацепил «летучую мышь» за стропила, примостился на верхней перекладине лесенки.

Немощный огонь фонаря высветил протянутую вперед руку в кожаном рукаве с зажатым в ней пистолетом — рука покойно лежала на сене, и скуластое, темное — обугленное точно — молодое лицо.

— Отец,— услышал Панька,— куда это я попал?

— К нам на двор,— ответил Панька и удивился: — Какой же я тебе отец?! Панькой меня зовут, на Новый год только пятнадцать стукнет.

— Панька,— повторил незнакомец, подтягивая к себе руку с пистолетом.— Немцы где? Есть поблизости?

— Кругом тут немцы, только в нашей деревне не стоят. Маленькая у нас деревня, пить-жрать им тут нечего — не разбежишься... Они по селам больше носятся. А ты кто? Летчик?

— Летчик. Сбили меня.

Панька встревожился:

— Ты, видать, пораненый. Я мигом в хату слетаю, тряпок чистых принесу — перевежемся.

Качнулась из стороны в сторону голова в шлеме.

— Крови вроде нет, не чую. Разбился я сильно и обгорел — вместе с самолетом падал. На тысячу кусков разбился, и каждый болит. О-о...

Летчик скрипнул зубами.

— «На тысячу кусков»...— ухмыльнулся Панька.— А на сеновал-то залез вон...

— Я? Залез? — удивился летчик.

— Ты, а то кто же!

И опять качнулась из стороны в сторону голова в летчицком шлеме.

— Не помню. Ничего я не помню.

— Я тебя на крыльце нашем подбрал и в сарай припер,— чувствуя в себе, невесть почему, прилив какой-то восторженной силы, заговорил Панька.— Перпер, думал, дышалка лопнет. В сарае бросил тебя, за спичками побег в избу. Думаю, засвечу огонь да погляжу, не мертвяк ли? А ты вон какой мертвяк —

на такую гору, можно сказать, закарабкался. Да еще пальнуть в меня собирался. Это разбитый-то...

Панька перевел дыхание, тыльной стороной руки вытер испарину на лбу, рассудил:

— Оно, конечно, может, и со страху ты на сеновал заскочил. Со страху, в беспомоществе, чего хочешь сделать можно. А? Как думаешь?

Летчик не отозвался. Панька пригляделся — лица не увидел: только затылок, обтянутый кожаной шапкой. Может, заснул, а может, забылся в усталости человек.

— Слышь, я тебе полопать сейчас принесу,— на всякий случай окликнул Панька летчика.— Картошки жареной. В печке она, да я достану. Не остыла еще, поди... Слышь, что ль?

Молчит летчик.

И тогда Панька с лестницы на сеновал перебрался. Стоя на коленях, уважительно коснулся рукой пистолета.

«ТТ» — марку определил.— «Эх, мне бы такой-то...»

Затосковал Панька.

«А что, выхожу вот его, откормлю,— может, подарит. Летчики завсегда добрые...»

Чихая и кашляя от всепроникающей зеленой пыли, чувствуя, как забивают его дыхание полуутраченные запахи жаркого солнечного полудня, высохшей утренней росы, запахи давнего и недавнего лета, пропитавшие сарай насквозь, Панька подоткнул под летчика старые овчины, хорошо прикрыл сеном. Подумал уверенно, что не замерзнет и при таком морозе — ветер в сарай помалу набегаёт, а одежда на летчике теплая, мехом подбита изнутри. В небе — и то греет. А тут и овчина, и сено, поди-ка...

...Потом сколько-то времени Панька стоял во дворе и соображал, нужно ли принести летчику поесть. Решил, что нужно: проснется человек — захочет перекусить. С хлебом беда — хлеба в доме мало. Ну да ничего — из своей пайки выделить можно. А мать и вовсе почти не ест, не идет ей кусок в горло.

За двором, с околицы, метелица белый снег мела-наметала. По непогоде такой да в ночь отец из волости уж точно не вернется.

И Панька от души порадовался, что всему дому сегодня он единственный —

3.

Отец приехал, едва развиднелось. Панька услышал его бубнящий голос, с трудом раскрыл глаза. Парамон Моисеич, не сняв тулупа, взгромоздился на табуретку у печки, и голова его в потертой солдатской шапке торчала где-то под самым потолком. Оттуда, сверху, и доносился до Панькиных ушей его голос: отец разговаривал с матерью.

— В волости, значица, заночевали, не решились на ночь глядя...

Спросил тревожно:

— Не получшало тебе, Анисья?

Мать закашлялась надолго и ответила хрипло, что нет, не получшало, что в груди колотье не проходит и голова в огне — польемем полыхает.

— Фершала, значица, привозить надо,— подумав, сказал отец. И еще малость поразмыслив, добавил решительно:

— Завтра за фершалом поеду.

— И, Парамон Моисеич,— не согласилась мать.— Дорога дальняя — не ко времени езда. Даст бог, оклемаюсь.

Отец вздохнул тяжело:

— Молочком бы разжиться, коровенкой. Молоко топленое с медом пить — пользительная от простуды штука... Ты не сдавай, Анисья, выздоравливай,— попросил он жалобно.— Куда мы без тебя, два мужика... Пропадем в одночасье.

Вот так каждый день: не сдавай, Анисья, выздоравливай. И про молоко тоже — верил свято Парамон Моисеич в целительную силу топленого коровьего молока с липовым медом. А в деревне их ныне — куда там коров! — анчутки рогатой ни единой не сыщешь. Козы паршивой, то есть.

Панька встал со скамьи, потягиваясь и почесывая в затылке. Увидел, что масло в лампадке выгорело давно и что в незначительном утреннем свете подчеркнутый копотью лик спасителя здорово напоминает лицо вчерашнего летчика.

— Что, брат, ловко мы с тобой? — по-свойски подмигнул он спасителю.

Тот неодобрительно промолчал.

Панька хотел уже бежать на сеновал, убедиться, как он там, летчик-то, живой ли еще, не замерз? Но тут скрипнула дверь, в избу ввалился, тоже в тулупе, Соленый, местный полицаи. В волости он был вместе с Панькиным отцом: своей лошади Парамон Моисеич не нажил пока,

и ездили они в санях, запряженных Бродягой — персональным меринном полицаи, а до начала войны — исправным трудягой в здешнем колхозе «Новый путь». С месяц тому назад случайно отбил Соленый буланого мерина у местных партизан и самолично завладел им.

Соленый поставил в угол две заиндевевшие винтовки — свою и Парамона Моисеича, стащил с головы лисий треух, поклонился, прогудел трубно:

— Мир дому сему! Здорово ночевал, старостенок?!

— У меня, чай, имя есть,— буркнул Панька, отступая к задней двери, что вела в сенцы и оттуда — во двор.

— Виноват, Павел Парамонович! Имени — почет, чину — уважение...

И Соленый широко распахнул тулуп, потащил его с крутых плеч:

— Однако, голоден я, братцы мои,— басом простонал он.— Хлеба б корочку пожевать.

«Как же, накормишь тебя корочкой»,— недовольно подумал Панька, берясь за дверную скобу.

Парамон Моисеич, соскочив с табурета, тоже стянул с себя тулуп.

— Панька,— просяще окликнул он,— спроворь, значица, чего ни есть позавтракать. Изголодались мы...

— Картошки нажарю.

— Давай картошку.

С неохотой оторвался Панька от двери, слазил в подполье за картошкой, потом лучин от березового поленца нащепал, брызнул на сковороду постного масла и, пока разгоралась в печи дымным белесым пламенем влажная от лежалости солома, успел очистить десятка два картофелин, порезать их. С шершавой луковичи одежду снял — прослезился.

Парамон Моисеич и Соленый сидели в горенке: Панька слышал их голоса — заикающийся, через пень-колоду каждое слово, отцов, и низкий, густой бас полицаи,— но о чем толкуют они там — понять не мог.

Сказать или не сказать отцу про летчика? — мучился Панька. Выходило так: не скажешь — вдруг сам наткнется на него, шум подымет. Вся деревня сбегится, и Соленый будет тут как тут. Или, еще того хуже, пристрелит отца летчик по нечаянности: откуда знать ему, что отец у Паньки — человек добрый и жалостливый, вон как по матери убивается, иссох весь, кожа да кости остались, и что нем-



цам служит он по принуждению — не по собственной воле. Не выдаст отец летчика, не пойдет против совести. Может, и дорогу к партизанам укажет ему Парамон Моисеич. Они, достоверно слышно, в окрестных лесах берегутся, а вокруг ихней Незнамовки лесов этих дремучих — сила несметная.

«Скажу,— поставил Панька точку на своих сомнениях.— Уйдет Соленый — сведу отца на сеновал. Вместе смаракуем, что и как дальше».

Приняв окончательное решение, Панька успокоился, ткнул вилкой в сковороду, попробовал картошку на зуб. Готова!

Подцепив посудину сковородником, прошел в горницу. Парамон Моисеич и Соленый сидели за столом, друг против друга. Перед ними, початая на четверть, стояли бутылка водки и граненый, с синим отливом стекла, стакан. Это для полицая. Парамон Моисеич в жизни не пил и не курил.

— Садись с нами, сынок,— пригласил Парамон Моисеич.— Чай, тоже не завтрак.

— Садись, парень,— дружелюбно прогудел Соленый.— Правда — она в сытом брюхе.

Панька подумал — и сел сбочку.

Соленый наклонил бутылку над стаканом, налил до половины, понюхал корку хлеба и выпил, не поморщившись. Вяло пожевал картошку.

— Квас. Дрянцо.

Как равному, Паньке предложил:

— Хочешь?

Панька мотнул головой.

— Вольному воля, было б предложено. Так вот, Парамон Моисеевич, — затрубил он, продолжая, видимо, оборванный Панькиным приходом разговор, — скажу без околичностей, ибо прямоу уважаю. Со всей откровенностью скажу: крест на грудь — он что? — побрякушка. Однако цену человека подымает. Получу крест — на волостную полицию сяду. А коровенка... Стану начальником — коровенка приложится. Да хоть бы и сейчас — раз плюнуть.

— Так ведь трудно без нее, без кормилицы, — оправдываясь, вставил свое слово Панькин отец. — Никак невозможно без молока. Анисья вон занемогла, а молочко — оно б ее на ноги живо поставило. Топленое, на липовом меду, значаца.

Еще недавно была в их доме удойная корова-четырёхлетка по имени Обнова. Рыжая мастью, круторогая, с мягкой и теплой всегда шерстью. Эту шерсть, когда Обнова линяла, Анисья бережно собирала и катала из нее для Паньки упругие мячики, не хуже резиновых были они.

В летние месяцы Обнова на выпасах гуляла, за садом, за околицей. Вечерами Панька гнал ее домой, и, завидев калитку родного двора, Обнова радостно и громко мычала. Звала хозяйку с подойником. Тяжелое вымя тяготило ее.

Нынешней осенью проходила через Незнамовку фронтонная часть. Задержалась в деревне — и съели Обнову солдаты. Парамон Моисеич, когда немцы во двор нагрянули, навстречу выбежал с документиком, удостоверяющим, что человек он не рядовой, приметный: первое в деревне лицо.

— Пшель! — отвел его руку ширококостый фельдфебель с воспаленными глазами и даже толкнул Парамона Моисеича: документик отлетел в одну сторону, мужик — в другую, а фельдфебель строевым шагом вошел во двор и выстрелил Обнове в голову.

Свежевать кормилицу заставили Парамона Моисеича, мясо варить — Анисью.

После, как фронтонники из Незнамовки ушли, в волостную управу ездил Парамон Моисеич, жаловался и правду искал. В управе обещали разобраться, помочь, но, думать надо, забыли про обещание...

Припомнил все про Обнову Панька — и грустно ему стало, задумался надолго

и плохо слышал, про что говорили мужики. А когда очнулся — наострил уши.

— Жалко, Фома Фомич, — виновато толковал отец. — А вдруг всамделе схватим мы его? Живой, как-никак, человек, русский.

Полицай снова налил в стакан, выпил, крякнув, потянулся к сковородке.

— Я вот что скажу...

«Вот гад, всю картошку стесал. Что в прорву ненасытную мечет», — с ненавистью подумал Панька, глядя, как сновисто подчищает Соленый горелки на дне сковороды. А Фома Фомич — будто Панькины мысли подслушал, — подмигнул ему, усмехнулся:

— У меня, парень, аппетит с каждой стакашкой растет. Тонус такой.

Панька смутился, но Соленый не разглядел его смущения, повернулся к отцу.

— Я вот что скажу, Парамон Моисеевич, жалеть в наше время прежде всего самих себя надобно, — тщательно отделяя одно слово от другого, затрубил он. — Москву немцы де-факто и де-юре уже взяли, войне не сегодня-завтра полный капут выйдет.

Соленый слыл человеком образованным. Всего каких-нибудь пять месяцев тому назад заведовал он райзо, а кроме того, числился штатным и нештатным лектором и пропагандистом всевозможных организаций, начиная от официального Осоавиахима и кончая добровольным кружком любителей русской истории, в который, помимо Соленого, входили два учителя средней школы. Страстью Соленого было выступать на районных и прочих всяких активах, и уж когда получал он слово — в ораторы Фома Фомич записывался при любом удобном случае и непременно первым, — с трибуны его силой согнать было нельзя. Выложится весь — сам уйдет. Красноречие Соленого в поговорку вошло.

Сейчас он сидел, навалясь на край стола широкой грудью (ах, как недоставало на ней креста-побрякушки!), — пьяный не столько от дрянного самогона, сколько от уверенности в себе, и, точно в податливую доску, вбивал в тщедушного, ничем не замечательного Парамона Моисеича ядреные гвозди-слова.

— Они уже и гранит в Москву для памятника победы повезли, сам видал. Огромные платформы, чистой слезы карельский гранит-мрамор... Кончилась власть Советов, а жития ей было двадцать

четыре года... Нам теперь при новой власти жить. От того, как проявим себя, все зависит. Полиция — дело верное, полиция при любом режиме нужна, ни одно государство без аппарата насилия не может существовать. Это,— понизил он голос,— и у самого Маркса сказано, между нами говоря.

— Боязно все ж,— оглушенный длинной речью Соленого, признался Парамон Моисеич. Паньке было жаль отца и смотреть на него неприятно было: сидит, голову в плечи втянул, зрачки омертвели будто бы. «Ну хватит,— умолял он полиция,— потрепался и — хватит! Не всяк же тебя поймет».

Соленый перегнулся через стол, кривая губы, сказал жестко:

— Ты, Парамон Моисеич, всякую боязнь, всякую жалость в себе в кулак сожми. И вон выбрось, чтоб и помину... Да ты на политику их взгляни. В полиции и у власти из наших они только полноценных людей держат. Пол-но-ценных, понятно тебе? Тех, кто их расе способен пользу принести. А нет — пинка под зад, и полетела душа в рай. Мне сам комендант рассказывал,— подчеркнул он значительно,— сам рассказывал, что неполноценных из славян, есть такой проект, уничтожать поголовно намерены. Ясно тебе?

— Ладно,— неизвестно на что отозвался Парамон Моисеич.— Ладно, я, знача, собираться пойду...

Горбясь, он вышел на кухню. Соленый остался допивать водку, а Панька выскользнул за отцом.

Парамон Моисеич стоял у окна, держал в руках винтовку и не видел, не слышал Паньку. Неловко открыл затвор, извлек из магазина тускло поблескивающие патроны, сунул их в карман штанов.

— Батя,— тихо позвал Панька.— Слышь, батя...

— А? Что? — вздрогнул Парамон Моисеич, со стуком положил винтовку на стол.

— Батя, я тебе что-то сказать хочу. Панька шагнул вперед.

— Слышь, батя, тут вчера такое произошло...

Парамон Моисеич непонимающе смотрел на сына.

— Батя, пойдем в сени.

За Панькиной спиной растворилась дверь. На кухню, вытирая белым платком жирные губы, вышел Соленый.

— Готов, Парамон Моисеевич?

— Как пионер, Фома Фомич, всегда, да, знача, готов! — чужим, ненатурально бодрым голосом отозвался Парамон Моисеич.

— Тогда одеваемся — время дорого.

Соленый мимоходом прихватил винтовку Парамона Моисеича, играючи, небрежно потянул затвор на себя.

— Э-э,— укоризненно хохотнул он.— Вояки ж мы с тобой, Парамон Моисеевич. В случае чего, стало быть, они в нас палить будут, а мы с тобой прикладами обороняться. Так, что ли?

У Парамона Моисеича лицо красными пятнами забурело.

— Память. Подвела, проклятая,— залепетал он, неловко роаясь в карманах штанов и доставая целую обойму.— Вот она, будь ей неладно! А я, знача, и думать забыл.

Соленый взял обойму, не торопясь, со знанием дела утопил патроны в магазине, звучно двинул затвором, поставил винтовку в угол, рядом со своей.

Они топтались в тесной кухне, натягивая на плечи тулупы,— краснощекий, ладный фигурой и выправкой полицай и маленький, на полторы головы меньше, тощий и плешивый Панькин отец. Парнишка смотрел на них, недоумеая: чего это вдруг засуетились, куда засобирались — ведь только что с дороги, обогрелись едва...

— Анисья, смотри тут, не хвора, знача,— стесненный присутствием постороннего человека, вполголоса посоветовал отец.— Как ни то — вернись скоро.

Взял винтовку и понес ее на выход, держа перед собой обеими руками. На пороге задержался, обернулся растерянно:

— Паня, ты чего-то, кажись, шепнуть мне хотел?

Панька закусил нижнюю губу, пожал плечами.

— Спросить я хотел, куда собрались-то?

Отец замялся, выговорил сердито:

— Ты вот чего — спишь крепко, знача. Нонесь утром стучал-стучал в окно — не достучался. Через забор лез, поворовски, со двора избу отворял.

Соленый хохотнул понимающе:

— Хватит тебе, Парамон Моисеевич, наводить тень на ясный день. Человек он взрослый, все разумеет, и стесняться тут нечего: мы же дело делаем. Летчика,

Павел Парамонов, идем искать, сокола красного, сталинского. Самолет его подбили — во-он, у леса на полянке. А сам утек. Пойдешь с нами? Наган дам. Добрый наган: на тридцати шагах копеечку режет. Идем, а? Мы его живо сцапаем — далеко навряд ли ушел.

Парамон Моисеич протестующе взмахнул рукой. У Паньки захолонуло сердце.

— Не надо нагана,— выдавил он через силу.

4.

Он долго смотрел в окно. Бродяга с места тронул крупной рысью — качнулись резко две понурые фигуры в санях. Из-под копыт мерина комьями взлетел снег, осыпал тулупы отъезжающих. Два четких следа заструились под полозьями, и чем дальше уходили они, эти ровно прочерченные линейки, тем уже и уже становилось заключенное в них пространство. Где-то,— так почудилось Паньке,— непременно должны сойтись они на остро отточенный клин.

А когда пропали сани из видимости, Панька наклонился к подпечку, разворошил груды тряпок, достал оттуда завернутую в грязный половичок гранату — «лимонку».

Она лежала на ладони, вселяя в Панькино сердце силу и уверенность, этот тяжелый металлический шарик в рубчатой рубашке, смазанный поверху для лучшей сохранности лампадным маслом, начиненный смертью. Стоит только потянуть кольцо и — ваших нету... Гранату Панька подобрал летом в наспех вырытом окопе — тогда близ Незнамовки целый день шли бои, красноармейцы отчаянно отстреливались от наседавших немцев, а ночью, забрав убитых и раненых, незаметно ушли. Только и оставили обрывки окровавленных бинтов, горки латунных гильз да вот эту, в зеленый цвет выкрашенную «лимонку». Кто-то забывчивый, нескладный оставил, наверно...

Панька опустил гранату в левый карман штанов — и сразу штаны отяжелели, поползли с его тощего бедра. Попробовал ремешок перетянуть потуже — не помогло. Да и заметно очень. Панька подумал малость и перепрятал гранату в карман шубенки. «Днем пусть при мне будет, а на ночь опять в подпечек захороню», — решил он.

— Ма,— негромко позвал Панька, но мать не отозвалась, только хриплое, со свистом, дыхание услышал мальчик. Наверно, сном забылась.

Тогда Панька тщательно запер на щеколду и большой крючок входную дверь, отрезал от початой ковриги ломоть хлеба, круто посолил его. Сходил в горенку, обнаружил на столе недопитую бутылку водки и прихватил ее, а в другую бутылку, порожнюю, свежей воды налил и стремглав бросился в сарай.

Взлететь по лесенке на сеновал теперь для него делом одной секунды было. Уселся, как и ночью, на верхней перекладине, свалил на сено весь небогатый припас, огляделся. Наверху, под самым коньком крыши, в зимний день ненамного светлее, чем ночью.

— Эй, ты,— покликнул Панька, не зная, как назвать летчика по имени.— Живой? Отзовись, я это...

Сено ворохнулось слегка, и Панька увидел голову в кожаном шлеме.

— Значит, живой,— обрадовался мальчик.— Ползи сюда, я тебе пожрать принес.

— Не могу я, Павел, шевельнуться, не могу,— пожаловался летчик.— Только руки и работают.

— Тяжело, значит? Дай-ка, я помогу. Сейчас, сейчас... Ты не унывай, не тужи: руки — это самое главное. Ног не будет — наплевать, а руки целы — важно: кончится война — сапожничать научишься, проживешь помаленьку. А что, очень даже просто: тяни и тяни дратву да гвоздочки березовые вколачивай. Руки и голова — первое дело.

Панька подвинул к летчику хлеб, бутылку с водой, выковырнул пробку из другой бутылки и все говорил-говорил, суматошливо и радостно:

— Ты ешь, ешь, поправляйся скорей. И на вот, выпей. Водка.

— Водка? — оживился летчик.— Ну-ка, давай, может, впрямь полегчает.

Он пил, неудобно и неумело запрокинув голову, шея его обнажилась, острый мальчишеский кадык бежал под бледной кожей. И Панька подивился тому, что у летчика такое темное, обугленное лицо и такая бледная шея.

«Наверно, от удара лицом почернел,— подумал он.— И кружку я не прихватил — неудобно из горлышка-то».

Летчик меж тем выронил бутылку и ухватил в руки хлебный ломоть. Съел его

с торопливой жадностью, не просыпав и крошки.

«Проворный,— подумал Панька.— Лопать умеет, значит, не хилый».

— Павел, я, наверно, захмелею сейчас. Слаб я.

— Вот еще надумал!— осердился Панька.— Мужик — и охмелеет. Скажешь тоже!

Он не на шутку испугался, что летчик и в самом деле сникнет, впадет в забытие, а Паньке очень о многом хотелось поговорить с ним, с человеком, прилетевшим оттуда, с той стороны.

— Слышь,— сказал Панька.— Промерз ночью-то?

— Не знаю, не чувствовал.

— А как зовут тебя? Вчера не спросил — не до того было, и мучился всю ночь. Ей-богу, не вру. Думаю, умрет — за кого свечку ставить?

Летчик с трудом приподнялся на локтях, круглыми от изумления глазами уставился на Паньку.

— Ты что, в бога веруешь? Я не ослышался? Паша, дружок, ты до войны хоть раз в пионерском лагере был?

— Был раз. Почти неделю жил, а потом убег. Скучная там жизнь, никчемушная, не по мне. Ходи строем, вставай по дудке и спать ложись по дудке. Купаться на реку пойдешь — так вожатая за штаны держит: не утони, Пашенька. Сбег я оттуда к отцу на сенокос. Вот где привольно-то... У меня и коса есть своя, батька по росту сделал. С утра по росе намахаешься, а в полдень где-нибудь на стожке лежишь себе, отдыхаешь. На земле у нас нельзя — змей много! Тетка Авдотья как-то прилегла на лужку, на траве прямо, да заснула ненароком, а рот-то раскрыла. Змея ей через рот вовнутрь и заползи. Стала Авдотья потом пухнуть, толстеть. Думали все в деревне, забрюхатела она, спрашивали бабы, когда, мол, родить-то? — и смеялись над ней: старая уже. А это змеюка там оказалась. И ненасытная попалась — никак Авдотья прокормить ее не могла. Молоко целыми горшками пила, бывало. Хотела Авдотья огуречным рассолом ту змею выгнать, а ничего не получилось. Что ей, змее-то, плохо в животе-брюхе? Тепло и сытно. А потом умерла тетка Авдотья и ее разрежали...

Летчик усмехнулся:

— Сказки рассказываешь, Паша. Забавные, горазд заливать... А я в лагере

планеры строить научился, модели. На соревнованиях первое место брал. Да-а. И никаких змей никогда не видел, только в зоопарке... Смешные сказки.

— Не сказки, а истинная правда,— обиделся Панька.— И ты мне верь. А что про бога, так я знаю, что его нет. Опиум это для народа, обман один. Я грамотный, шесть классов кончил, для седьмого учебники у мамки в сундуке лежат. А порядок такой есть — свечки ставить... Так как звать-то тебя?

— Звать меня просто: Егор Иванович Иванов. А по воинскому званию — младший лейтенант я, летчик-истребитель.

— Скажи-ка,— удивился Панька, явственно услышав в голосе летчика горделивые нотки, и уважительно сказал:

— Ты, Егор Иванович, небось, самолетов немецких много насшибал. Штук десять, да?

Летчик промолчал.

— Ну, не десять — пять? — с отчаянием и надеждой в голосе и боясь ошибиться, переспросил Панька.

Егор Иванович развел руки — видно, локти плохо держали его, — глухо, в сено сказал:

— Никого я не сшиб, Паша, не повезло мне. На первом вылете срезали, гады...

Паньку честное признание летчика повергло в уныние. Он долго не мог проронить и слова, а когда чуть успокоился — запахнул плотнее от внезапной зябкости полы шубенки, сказал с досадой:

— Эх ты, неумеха: ни одного самолета! Вот Чкалов...

— Что Чкалов?! Был... — отозвался летчик тусклым голосом. — Не слабее есть ребята. Вон Витька Талалихин! Дружок, можно сказать. На таран пошел. Да когда? — ночью. «Юнкерса» в щелки развалил. Героя получил. И я не хуже. Не хуже — понял? Только не повезло мне.

Панька отчетливо услышал в интонациях Егора Ивановича злые слезы. И, жалая его внезапной жалостью, примирительно махнул рукой.

— Ладно, не тужи, Егор Иванович. Слышь-ка... Вот поставлю тебя на ноги — ты еще насшибаешь фашистюг.

От непомерного сострадания к летчику зародилась в Паньке уверенность и надежда, что непременно сумеет он подлечить младшего лейтенанта Егора Иванова, отчаянного истребителя, которому просто-напросто не повезло. Не всем же сразу везет...

— Насшибаешь, говорю. Верно ведь?
— Насшибаю, верно,— как-то по-детски согласился летчик.

— Ну вот. А ты мне самое главное скажи: когда немцы Москву-то взяли и как теперь отбирать ее обратно?

— Москву? Взяли? — пораженно спросил летчик и снова приподнялся на локтях.— Ты что, спятил, парень? Я с подмосковного аэродрома вчера подымался. Москву им никогда не взять. Трудно ей, а выстоит. Выстоим...

Панька смутился и восхитился одновременно:

— Ух ты, здорово! Гляди-ка... А мне откуда ж знать. Болтают всякое.

Он едва не обмолвился о Соленом, но сообразил, что не стоит расстраивать летчика рассказом о полицае.

— Мы ж тут все равно как на том свете. Ни радио, ни газет — все запретили гады...

— Павел, ты с кем живешь-то? Отец где, на фронте?

Егор Иванович пристально смотрел на Паньку. Вопрос мальчишке не понравился.

— Ладно, Егор Иванович, потом об этом расскажу. У меня ноги застыли, а тебе отдохнуть надобно. Ты поспи чуток, а я пойду. Наведаюсь еще.

5.

Ближе к сумеркам снова взыграла, завьюжила непогода. Ветер со звериной силой стучал в окна и сквозь переплеты, заклеенные по осени газетой, сквозь двойные рамы умудрялся насыпать на подоконники сахарные дорожки. Углы в кухоньке замохнатели от инея, а когда Панька растопил печь, чтобы подогреть избу на ночь, подтаяли, заплакали углы темными старческими слезами.

Панькина изба в своем порядке крайняя была, окнами в чистое поле и недалний лес смотрелась, но сколько ни вглядывался Панька сквозь промерзшее стекло, сколько ни ставил на нем пяточков жарким своим дыханием — ничего не увидел в белой круговерти снеговых столбов. Тревога за отца не покидала Панькину душу.

Поздним часом, однако, когда отчаявшийся и беспомощный в своем одиночестве Панька собирался спать, отец и Соленый вернулись. Приехали, как и надо было

думать, ни с чем. Впрочем, не так уж и с пустыми руками — в задке саней лежали два засыпанных под завязку мешка с пшеницей. Один мешок Парамон Моисеич с Панькиной помощью втащил в избу, другой Соленый повез на свою квартиру. На Панькин вопрос, где это они пшеницей разжились, Соленый ответил хмуро и непонятно:

— Экспроприировали частную собственность. По закону военного времени.

В избу заходить не стал, вылезать из саней не захотел — вытянул Бродягу кнутом по широкому крупу и укатил восвосяси.

Ужинать Парамон Моисеич сел в кухне. Панька лежал на скамье, смотрел, как вяло торкается в миске с постными щами деревянная отцова ложка, и думал невестелую думу. Наконец он решился, спросил:

— Не сыскали, значит, летчика?

Отец взглянул на него затененными синевой усталости глазами, покачал головой. Выхлебав щи, миску вытер хлебным мякишем, прожевал его. Укорил:

— Что-то хлеб у нас быстро тает. С утра и не приступались к ковриге, а щас, гли-ко, одна горбушка осталась. Жрешь много.

— Сколько надо — столько и жру,— резонно обиделся Панька.

— Да я ничего, так я,— стушевался отец.— Из-за матери больше, значаца, ей питание нужно. Пшеничка-то вон... Ты бы намолол, а то завтра замесить не из чего.

Панька страсть как не любил молоть, но, понимая, что упрек отца, в общем-то, справедлив, и зная, что теперь один из едоков жив будет только его иждивением, согласился, и даже с видимой охотой:

— Ладно, прокручу. За ночь управлюсь, а днем отосплюсь.

— Намаялся я,— пожаловался Парамон Моисеич.— Продрог, поясницу размываает.

Но прежде чем улечься на покой, он привычно подвинул табуретку к печке, забрался на нее и долго шептался с матерью: допытывался про ее здоровье, спрашивал с надеждой, не полегчало ли, и пришел к окончательному решению сгнать завтра в волость за фельдшером.

Анисья неожиданно согласилась с ним:

— Вези фершала. Моченьки моей терпеть больше нетути. Днем креплюсь, терплю, а к ночи на куски всю раздирает... Вези фершала, Парамон Моисеич.

Панька, зевая, скучал на скамье, отчужденно прислушивался к беспокойному перешептыванию отца с матерью и лениво думал о том, что, когда вырастет в мужика, никакая сила не заставит его жениться. Лучше самому по себе, одному на свете жить, чтобы и ты никому не в тягость, и тебе никто...

А когда услышал про фельдшера — востепенно: как бы заполучить его, чтобы летчика посмотрел и чтоб никто не узнал об этом. Или лекарств каких выпросить для разбитого человека.

Парамон Моисеич, между тем, аккуратно соспустил с табурета. И Панька поднялся со скамьи, шумно вдохнул в себя застоялый, пропитанный запахами нездорового тела и мокрых овчин, жженой соломы и вечной сырости воздух кухни. Помедлил еще чего-то.

— Батя,— ворохнул неестественно высоким голосом густую вечернюю тишину.— Батя, скажи мне, зачем ты поехал с Соленым человека ловить?

Парамон Моисеич шагнул к сыну, остановился напротив. Редкие белесые ресницы его мелко-мелко задрожали, щеки пошли красными пятнами. В эту минуту он удивительно походил на подростка, на Паньку своего походил, разве только плечи поуже от сутулости да огромная плешь на затылке.

— Я же властью постановленный человек,— сказал он.— К жизни приноравливаться надо. Вон Фома Фомич говорит, и выживут-то, мол, не все, а кто к ним с покорностью. Убьет людишек война. Против силы не попрешь. Москву-то немец взял, слышал ведь, как Фома Фомич говорил.

— Брешет твой Фома Фомич! — не выдержал Панька. И, боясь, что его перебьют, остановят, не дадут высказаться, не поймут, заговорил торопливым, кричащим шепотом: — Батя, ты же умный. Зачем к тебе Соленый привязался? Отстань от него, будь сам по себе. Иди в партизаны, батя, скорей иди... Хоть сейчас иди. Беги! Вон и винтовка у тебя есть.

В синих глазах отца метнулись искорки страха. Втянув голову в плечи, он быстро огляделся по сторонам.

— Тише ты, оглашенный! Услышат нароком... Рази ж можно так-то?

— А как же, батя, как же?

— Молчи. Твое дело сторона.

Панька, приволакивая отяжелевшие ноги, пошел в угол, где стоял мешок с

пшеницей, ухватил его за хохол, потащил к подполью. Парамон Моисеич суетливо наклонился, прицепился снизу к углам, сказал виновато:

— Не надрывайся один-то. Помогу, чай.

Панька молчал, будто б не видел и не слышал отца. Взял с поставца лампу-пятилинейку, открыл люк в подполье, поставил ногу на тронутую червоточиной перекладину лестницы. В лицо шибануло прелью, стужей, мурашки забегали в ногах.

Отец обескураженно топтался рядышком, неловко помог свалить мешок с пшеницей в подполье.

— Сынок,— позвал он, когда Панька хотел закрыть за собой люк.

— Чего тебе?

— Сынок...

Парамон Моисеич опустился возле люка на колени, желая лучше видеть Панькино лицо.

— Сынок,— в третий раз повторил он.— Ведь из-за матери я все это... стараюсь, значица. Пойми ты меня, сынок. Корову в награду обещали. Ведь умрет мать, что мы с тобой делать будем? Умрет она без молока, беспрерменно умрет. Что мы делать-то будем, скажи мне?

— Иди спать,— жалея отца и ненавидя его, униженный его нелепой — на коленях-то! — позой.— Иди спать,— повторил Панька и опустил над собой крышку люка.

В подполье, под фундаментом печки, в самой близости к теплу, коричневел при неярком освещении ворох картошки — запас до летних дней, до нового урожая. Подальше стояли две просторные бочки: одна с солеными огурцами, другая — с квашеной капустой. Ящики, засыпанные опилками и песком, источали тонкий запах смолы и аромат антоновских яблок: там лежал весь урожай, снятый по осени в их молодом, неокрепшем саду.

Под горенкой в углу на неощуренных досках стола ручная мельница: два грубо отесанных по окружности шершавых камня-жернова. В верхнем жернове проделано отверстие для засыпки зерна, к нему же и приводной шест прикреплен. Дюжему человеку и то не всегда под силу вертеть эту чертову мельницу, этот привод с тяжелым жерновом. Мука из-под него выходила грубая, скорее не мука, а дробленое зерно вперемешку с каменной пылью и крошками.

До войны Панька и не представлял, что могут быть такие мельницы. Раньше зерно на паровой, колхозной мололи.

Панька присел на мешок с пшеницей, и припомнилось ему, как однажды по осени ездили они с отцом на ту, настоящую мельницу.

...В просторном амбаре, светлом от солнца — двустворчатая дверь настезь распахнута — и от белой мучной пыли, было тесно: мешки, полные зерна, свалены в груды вдоль стен, множество мужиков, в ожидании своей очереди, сидят на этих самых мешках, терпеливо смоят cigarки.

Мельник — молодой простоволосый парень, белый от пят до макушки, — стоял на широком помосте. «Шш-шух, шш-шух», — тяжело вздыхали жернова, и ручьем стекала в деревянный желоб белая, похожая на ранний снег, мука.

— А ну, мужички, подбрасывайте! — время от времени покрикивал мельник и весело подмаргивал глазевшему на него Паньке:

— Не робей, воробей, знай наших!

Тотчас по команде мельника несколько пар сильных мужицких рук поднимали с земли мешок. Покачиваясь, плыл он над головами, а затем бережно ложился у самых ног мельника, и тот ловко и быстро распутывал на нем завязку, и с силой падало в горло жернова янтарное зерно.

— Ай, хороша новина, ай, добра! — радостно приговаривал мельник, веселый человек. «Шш-ша, шш-ша», — поддакивали ему жернова, а где-то за стеной размеренно потарахтывал движок, и сладкие запахи отработанного масла и солярки щекали Панькины ноздри.

Панька безотрывно смотрел на муку, стекающую в желоб, на мельника и думал о том, что когда вырастет — тоже станет веселым мельником и легко заставит крутиться большие жернова.

Тогда, в тот день, едва подошел их черед, как Митьку Кривому вздумалось нарушить порядок. Он только что подвез зерно на бестарке, взволнок мешки в амбар и попер их прямо на помост.

— Не дури, — неожиданно осек его всегда терпеливый Парамон Моисеич и рукой в сторону подвинул. — Не порть людям радость, дожидай своего часу.

— Недосуг мне, мужики, — оправдываясь, обратился к очереди одноглазый Митек. — Понимать должны: бригада на мне.

— В поле ты бригадир, а здесь мы все одинаковы, — со строгостью в голосе объяснил ему Парамон Моисеич. — И зерно у нас на одинаковые трудодни заработанное.

Мельник радостно хлопнул себя по ляжкам, отчего над помостом закачались два пыльных облачка, и весело подмигнул Кривому.

— Вот она, чертушка одноглазый, какая конституция тебе вышла, — непонятно сказал он Митьку. И снова подмигнул Паньке:

— А ты не робей, воробей, знай наших!

Митек, конфузаясь, отошел в сторону.

Ничего и никого не боялся тогда Парамон Моисеич: ни соседа, ни бригадира, ни председателя колхозного. Все свои вокруг люди были, здешние, знаемые.

А вот нагрянула со стороны пришлая, чужая сила — и надломила, исковеркала Панькина отца.

Мельницу ту паровую артиллерийский снаряд сжег, а веселого на присловья мельника на второй день войны в Красную Армию призвали. Может, уже убит где, отморгался уже, может?

Теперь каждый дом в Незнамовке обзавелся собственными жерновами. Ладно еще, когда есть что молоть...

Панька развязал узел на мешке, сыпнул в отверстие жернова горсть зерна, ухватился руками за палку-привод, и вдруг что-то больно толкнуло его в сердце. Он упал на камень лицом, и грубый камень вскоре стал влажным от его слез и мягким, как подушка.

Панька выплакался и заснул легко и надежно, без сновидений. И потому не слышал, что творилось в эту ночь над его головой.

Панька почувствовал, что замерзает. Пробудился и — явственно услышал вокруг себя оглушающе громкую, давящую на уши тишину. Открыл глаза — вязкая темень обступала его со всех сторон. Догадался, что керосин в лампе иссяк, и потому сообразил, что проспал не один час, но что там, на дворе — день, ночь ли, — осмыслить не мог.

В сердце у Паньки было свободно и радостно, точно свалил с себя тяжесть не меньшую, чем жернов, на котором спал.

— Вот те и намолот! — потирая отекающую щеку, вслух сказал он сам себе. — Зато выдрыхся всласть.

Осторожно переступая застывшими ногами и не чувствуя их, на ощупь добрался до люка, поднял крышку. И тотчас мягкий лучик солнца упал на лицо, пощекотал веко.

— Эй вы! — радуясь тому, что уже давно день и что погода установилась, наконец, крикнул Панька. — Чего вы меня не разбудили?

Никто не отозвался.

Паньке молчание в избе не в новинку, не в тягость. Прошлепал валенками по кухне, выскочил на крыльцо, осторожно сошел на обмерзшие, сверкающие расцвеченной слюдой приступки. За крыльцом в белый снег малую нужду справил, а потом побежал за угол избы.

Отсюда как на ладони открывалась Незнамовка. Вдоль широкой неуютанной дороги по обеим сторонам улицы впритык друг к другу лепились заиндевевшие кудлатые осокори. Прикрываясь ими, стояли за плетневыми загородками бревенчатые избы, поровну в каждом порядке: тринадцать слева и тринадцать справа. Над заснеженными крышами перстами торчали кирпичные трубы, и над каждой — продолжением ее — стыл блеклый поток дыма.

«Пора и нам затопить», — подумал Панька.

К колодезному журавлю, что стоял посередь деревни, утопая в рыхлом снегу, пробрела закутанная в шаль баба. Дзинькнули ведра о наледь на расцвеченном в радугу срубке, журавель неохотно качнул длинной шеей и поплыл в глубоком поклоне. Как ни силился Панька угадать, чья эта женщина по воду пришла, не мог. Слишком толста и неузнаваема в ворохе наверхенного на ней тряпья.

Зябко ежась, Панька через калитку пробежал во двор, обжигая пальцы, нащипал из уполовиненного омета охалку соломы, притащил в избу, растопил печь. Едкий дым разъедал глаза, Панька отчаянно тер их кулаками.

— Сынок, — окликнула Паньку мать.

— Чего.

— Поди поближе.

Придвинув к печке табуретку, забрался на нее, как обычно отец это делал.

— Чего ты, мамк? Болит чего?

Анисья лежала ногами к стене, и Панька отчетливо увидел ее осунувшееся, истрепанное болезнью, за какую-то неделю постаревшее лет на двадцать лицо, глубокие морщины на лбу, горькие складки

вокруг рта и обметанные жаром, бескровные губы.

— Сынок, ты ничего не знаешь?

— А что? Говори.

Мать закашлялась, прикрываясь ладошкой, оберегая сына от нечаянной заразы, а когда отняла руку, Панька разглядел на ладони мокрые бурые пятна.

Радость, которая бурлила в нем с момента пробуждения, угасла, уступила место чувству острой жалости. Прежде он не думал, а может, верить не желал, что болезнь матери зашла так далеко, и не понимал, не принимал близко к сердцу переживаний отца. Ему захотелось утешить мать, как-нибудь помочь ей, но и для утешения и помощи нашел он только те неуклюжие слова, которые каждый день втолковывал Анисье Парамон Моисеич:

— Ты не хворай, мамк, не надо.

Анисья попыталась улыбнуться, но улыбка у нее не получилась. И с какой-то жалобой в голосе она сказала:

— Сынок, партизаны к нам ночью приходили.

— Партизаны?!

От радости и испуга у Паньки оборвалось дыхание. Спросил тревожно и почти не сомневаясь:

— А отец где? С ними ушел?

— За фершалом уехал Парамон Моисеич. Напугали они его, переполошили. Бранили, что, мол, какого-то красного летчика ездил с Соленым искать. Спрашивали, не слышал ли что про него, и упредили: коль, дескать, услышишь что или узнаешь — не вздумай в волость донести или Соленому проговориться.

— А он что?

— Не знаю... Говорил им что-то.

— А кто был-то? Наши?

— Наши, как есть наши. Двое были: Степка Филин и Митек Кривой. Митек — прости, господи, его грешного! — уж больно над Парамон Моисеичем изгалялся, так изгалялся... Ты, говорит, немецкий прихвостень, и терпим тебя мы только до той поры, пока ты нам особого вреда не приносишь. Ружьем замахивался на него.

Паньке не по себе стало.

— И чего им этот летчик дался? — вздохнула мать. — И тем, и нашему. Может, уж замерз где давно или укрылся. Через фронт перешел... Поди сыщи теперь.

Она внимательно посмотрела на Паньку.

— Ты-то ничего о нем не слышал? Может, на улице что...

Панька выдержал пристальный материн взгляд.

— Чего я слышал?.. Бываю я на улице-то? Днями наружу не выхожу.

Он хотел спрыгнуть с табуретки, но мать протянула вперед большую, раздавленную многолетней работой — бессчетными стирками, топкой печи, уходом за Обновой — руку, положила ее Паньке на голову.

— Сынок.

— Чего еще?

— Помру я сегодня, сынок.— Глухая печаль сквозила в ее словах.— И фершала не успеет привезти Парамон Моисеич. Зря поехал он.

— Что ты, мамк, надумала? Ты ноне и не кашляешь почти.

— Искашлялась... Помру, сынок. Я ее вижу, смерть-то, над головой стоит. А неохота как: один ты, кровиночка, на белом свете останешься.

— Ма-а, не надо...— ощущая прилив какой-то незнакомой прежде и пугающей нежности к матери, попросил Панька.— Не надо...

— Один... Отец-то слабый у нас, запутался он в жизни. Не может он сам по себе. Вот про партизан наказывал не говорить тебе. А я сказала. Умру ведь когда, окромя тебя, никакой заступы ему не будет.

— Мамк, в печке прогорело, поди.

Он бережно снял с головы ее отяжелевшую руку и, как постороннюю, ни для каких надобностей не предназначенную вещь, положил на теплые кирпичи.

Анисья прошептала:

— Спаси тебя бог... Об одном прошу: живи по правде, сынок.

6.

Ночной визит партизан и напугал, и расстроил, и обрадовал Паньку.

Напугался он за отца.

Панька знал, что свое назначение старостой деревни Парамон Моисеич принял без всякого желанья. В Незнамовке мужиков почти не осталось — старики да молодые парни, которым не приспел срок призыва в Красную Армию. Самого Парамона Моисеича воевать не взяли — давно уж, с молодых еще лет, страдает он пупочной грыжей. А когда при-

ехали из волости, из бывшего районного центра то есть, в Незнамовку немецкие власти новый порядок устанавливать и согнали баб и стариков на сходку, Соленый — винтовка висела у него на плече, и весь он был преисполнен самоуверенности и трепетного уважения к немцу-коменданту,— показал на Парамона Моисеича:

— Давно его знаю. Старательный крестьянин, хозяин на земле. В партии не состоял. И Советской властью он обиженный.

У Соленого, видать, своя задумка была: помнил он про тихий нрав Парамона Моисеича и понимал, что приберет мужика к рукам. Да и то сказать: не было больше в деревне мужчины, по возрасту в начальство пригодного.

— Окстись, Фома Фомич,— подал тогда голос Парамон Моисеич.— Какой же это я обиженный прежней властью? Ничего худого от нее не видели.

Соленый оскорбился:

— А разве не обиженный? Все, кому не лень, тобой помыкали: и бригадир, и председатель. Копался в земле, как жук навозный, света не видел. А теперь командовать будешь, распоряжаться...

— Зря вы это,— слабо запротестовал Парамон Моисеич, но тут немец-комендант перебил его резким, как удар хлыста:

— Гут! Ха-ро-ший бауэр.

И ткнул его пальцем в грудь:

— Ты есть старост в Незнамовка.

Бабы загалдели вперебой:

— Парамон Моисеича знаем!

— Ласковый мужик.

— Иного и не желаем...

Желают или не желают кого-то иного незнамовские крестьяне, коменданту — длинноногому, похожему на обряженно-го в зеленое сукно журавля,— наплевать было. Однако он с терпеливой улыбкой на чисто выбритом лице доводы стариков выслушал, а те — каждый от своей головы отводя напасть — уговаривали:

— Послужи добром, Парамон Моисеич.

— За миром не пропадешь!

— Заместо бригадира вроде, за Митька Кривого гуж потянешь.

— Не то чужого какого подлюгу поставят...

Похожий на журавля немец-комендант уехал. Остался в Незнамовке Соленый — как вооруженная сила, и Парамон

Моисеич — утвержденная новым порядком гражданская власть.

— Ой, наживем беды! — не находила себе места после сходки Анисья.

Парамон Моисеич попытался успокоить ее:

— Ништо. Поговорили и — забыли. Живем на отшибе, в малолюдстве, не больно часто будут они сюда навестывать...

Паньку никто из деревенских в глаза не попрекнул, и мальчик, переживавший за отца вначале, вскоре успокоился. Кому-то и старостой надо быть, раз такое время пришло. А тут — на тебе! — партизаны, свои деревенские мужики, тот же Митек Кривой, называют отца немецким прихвостнем и грозят расправой. За что?

Расстройство же в Панькиной душе оттого произошло, что проморгал партизан. Не проспил он эту ночь в подполье, на жерновах — передал бы им с рук на руки Егора Ивановича. И для всех бы оно, это дело, добром обернулось: и для Паньки, и для отца его, и — главное — для летчика. А теперь...

Но и радость была не случайной: сейчас-то Панька знал, как сложится судьба летчика. Нужно только добежать до леса, поискать партизан.

За тройственной сложностью этого чувства растворилась, исчезла в новых заботах острота сказанных матерью слов о том, что смерть стоит у нее над головой. Мало ли что померещится больному человеку?

Он поспешил на сеновал — рассказать летчику о партизанах.

Панькин сбивчивый рассказ вызвал у Егора Ивановича немалую радость. Он даже присесть попытался, трудно опираясь руками о сено, — и это ему удалось.

— Ну, Павел, — твердил он с придыханием, трудно повторяя слова. — Ну, Павел, золотой мой, порадовал ты меня. Ищут, значит, партизаны. Как бы помочь им найти меня?

— А я вот на лыжи стану да в лес прокачусь. Может, наткнусь на них.

Глаза летчика зажглись лихорадочно, длинные пальцы рук беспокойно теребили сухие травинки.

— Павел, они меня за линию фронта переправят. Ты слышишь, Павел? Я снова на самолет сяду, друг мой Пашка. И пер-

вого же фашиста, которого срежу, — в честь тебя. Считаю, что ты сбил. А? Ведь если б не ты...

— Спасибо, — сдержанно поблагодарил Панька. — Срежь сперва.

Бурная радость, счастье, надежда, которыми так и светился Егор Иванович, вызвали в душе Паньки необъяснимо щемящее чувство грусти. Панька, про партизан рассказывая, ничего почти не утаил от летчика — про отца поведал, что старостой в деревне его насильно, не по своей охоте поставили немцы, про полицая Фому Фомича Соленого. Скрыл лишь, что отец и Соленый, не далее как вчера, весь день рыскали в поле, искали его, летчика-истребителя Егора Ивановича Иванова. Язык не повернулся сказать про то.

Он боялся, что признанием своим — об отце-старосте — вызовет недоверие к себе. Но летчик — то ли не придавал значения Панькиному рассказу о Парамоне Моисеиче, то ли радостная весть захватила его целиком, заглушила в нем все прочие чувства — никак не выразил своего отношения к Панькиному родителю.

— Эх, Паша-Пашенька, здорово-то как! — взволнованно твердил он. — Во мне, слышу, сил прибавилось.

Стоя на коленях, Егор подался вперед, протянул обе руки, намереваясь обнять мальчика.

— Дай-ка, я на тебя взгляну. Я ведь в лицо тебя и не знаю по-настоящему.

Панька резко откачнулся назад.

— Пойду я, — наливаясь злой, непонятной тоской сказал он.

— Да чего ты, Пашка, в самом деле? Погоди. Обидел я тебя?

— Пойду!

— Погоди, чудак человек.

Панька замаялся, не зная, признаваться ли.

— Мать у меня больная, — после паузы тихо выговорил он. — Тяжелей тебя будет.

— А-а-а, — протянул летчик.

— Мать при смерти, — упрямо повторил Панька. — Грудь у нее застужена и в горле хрип. Молоко ей топленое с медом пить надо.

Он опустил двумя ступеньками ниже, в упор посмотрел на летчика.

— За тебя, слышь-ка, корову можно получить. Тому, кто покажет тебя, в награду обещали.

Живинки поблекли в зрачках летчика. Он как-то сразу обмяк, неловко повалился на бок.

— Та-ак.

Голос его теперь был тускл, бесцветен.

— Таким манером, выходит.

— Таким, — согласился Панька. — Близко она, корова-то, и мед в погребе стоит. Таким...

Летчик молчал.

— Таким вот манером, — в отчаянии повторил Панька. — Только ты не бойся, Егор Иванович. Не бойся! Человек я или кто? У меня вон и галстук пионерский целый. Не бойся!

— Я не боюсь, — тихо сказал летчик. — Чего ж мне бояться?

— Вот-вот, не бойся. Прощевай пока.

Панька опускался по лестнице, был уже у самой земли, когда летчик окликнул его:

— Паша!

— Чего?

— Отец-то твой, Паша, немцам служит. Ты ничего, тебе я верю, не выдашь... А отец?..

Панька вспыхнул.

— Ты отца не тронь! Слышишь? Вот, ежели Соленый...

— У меня, парень, пистолет. Я не сдамся.

В избе, неожиданно для Паньки, сидел Фома Фомич Соленый. Нога за ногу брошена, под синими диагоналевыми галифе вырисовывается тугая ляжка. Белый романовский полушубок распахнут на груди, лисий треух на скамье валяется. Черные волосы цыганистого Фомы Фомича мокры от испарины.

— А, наследничек, — протянул он в ответ на приветствие Паньки и объяснил:

— Отца дожидаю. Забрал у меня Бродягу, обещал вскорости вернуться, а все нет. Мне без коня как без рук. Служба!

— За фершалом батя уехал. Путь ближний.

— Знаю. Что Анисья Петровна-то, как она?

— Все то же, хворает, — нехотя ответил Панька, присаживаясь на табуретку.

Соленый неспешно достал из кармана полушубка пестро расцвеченную коробку, пальцами по доньшку щелкнул, наклонился к ней — тонкая сигаретка выскользнула и угодила ему в сочные, чет-

ко вырезанные губы. На фитильке зажег галки, извлеченной из другого кармана, взметнулся крошечный огонек. В кухне прямо и вкусно запахло табаком.

— Все дворы обошел я, Павел Парамонов. Все, понимаешь ли, обшарил. Чую, не мог далеко уйти тот летчик, поблизости где-то укрывается, у кого из деревенских, может. Ан нет, как сквозь землю провалился.

— Да бросьте вы о нем думать, дядь Фома. Замерз давно где-нибудь, — холодея сердцем, сказал Панька.

— Пустое. Мертвяка уж сыскали б.

Соленый встал, прошелся по кухне.

— Разве только партизаны подобрали его? Да как им успеть: немцы ближе к самолету были. Или метелью засыпало? Тогда до весны. Да тогда он и не нужен уже.

Панька из этих слов заключил, что Парамон Моисеич ничего не сказал полицая о ночном приходе партизан, и тихо порадовался за отца.

— Ты б не дымил так-то, дядь Фома, матери-то, чай, тяжело, — осмелился посоветовать он.

Соленый послушно пригасил сигарету, свырнул окурок в подпечек, поднял со скамьи ведро, напился через край. Поморщился брезгливо:

— Вода протухла. Слетал бы за свежей.

— Вечером принес, с чего б ей протухнуть...

Полицай снова прошелся из угла в угол, нерешительно посмотрел на мальчика:

— Что-то брюхо расстроилось. До ветру выйду.

Отрешенно скрипнула, закрываясь за ним, дверь.

«И чего это он вздумал докладывать? — удивился Панька. — Иди, если приперло».

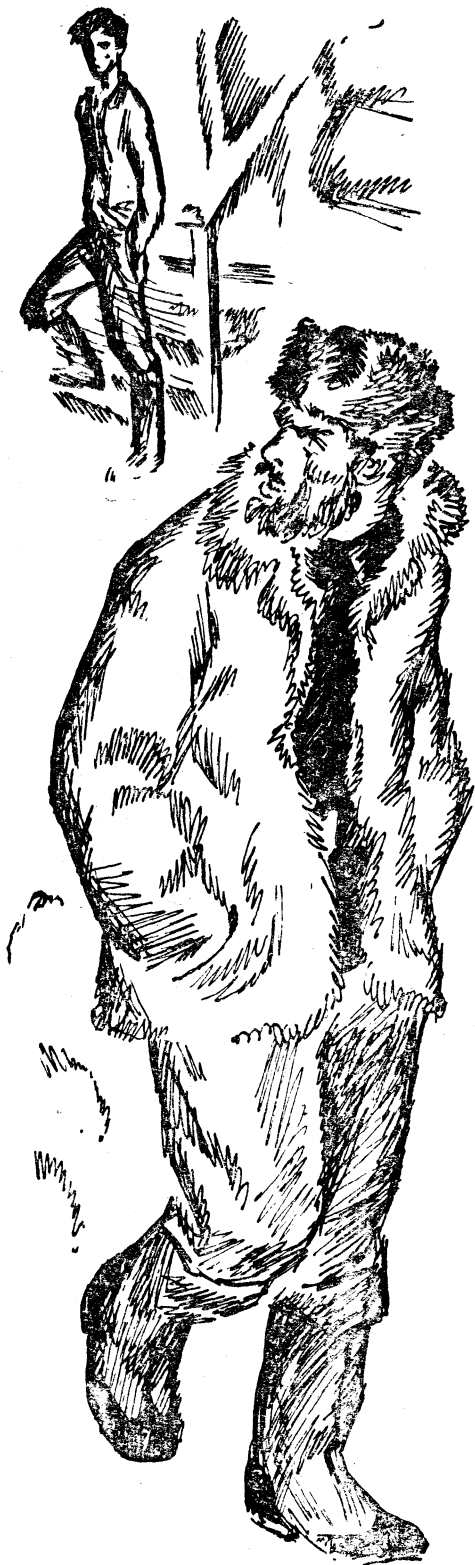
Внезапная догадка озарила его. Панька вскочил с табуретки, метнулся следом за полицаем. Левую руку сунул в карман и, нащупав рубчатое тело гранаты, почти успокоился:

«Если что — гранатой в него шмякнут».

С крыльца увидел, как Соленый медленно — руки в карманах полушубка — идет к сараю с сеном. У дверей сарая он задержался, не решаясь переступить порога.

— Дядь Фома!

Полицай вздрогнул.



— Дядь Фома, ты чего, забыл? Кабинет-то у нас там вон, за сеньями.

Соленый повернулся, засмеялся раскатисто. И неторопко, вразвалку пересек двор, скрылся в низенькой, тесной будке.

Панька, высвободив из кармана влажную руку, взял приткнутую к стене лопату, принялся скалывать лед с приступок.

Вышел из уборной Соленый нескоро. Проходя мимо Паньки, наклонился к нему, обдавая запахом чужого табака, сказал с усмешкой:

— Ну что, старостенок? Всегда так-то под ногами путаешься?

Панька выпрямился, наливаясь озорной силой, сказал неведомо зачем:

— А Москву-то немцы, видать, не взяли еще. Да где, слабо им!

— Ты почему знаешь?

Ответ у Паньки на этот вопрос был загадочно продуман:

— Если б взяли, тогда б замирение вышло и война б кончилась. Зачем бы вы тогда летчика искали — сам бы объявился. И я, поди-ка, уже в школу пошел бы, а то вон год пропадает.

Соленый почесал за ухом, запахивая на груди полушубок, сказал раздумчиво и дружелюбно:

— Не так скоро, Паня. Бонапарт — и это общеизвестно, на скрижалях истории записано — тоже Москву брал. Но эта война не кончилась, исход ее для Бонапарта был печален.

— А вдруг?.. — Панька осекся, не договорил, но Соленый понял его.

— Ничего не вдруг, Павел Парамонов. Теперь этот номер не пройдет. На Гитлера вся Европа работает, а Россия одна. Америка с Англией что? — за большевиков выступают? Как же, жди! Они сами на Советы зубы точат. Так что спета песенка Советов.

Соленый, похоже, оседлал любимого конька и в карьер его пришпорил.

— Ты вот, Павел Парамонов, — распалаясь, продолжал он, — историю в школе освоить не успел. А я зубы на ней сгрыз. И так скажу тебе, со всей прямо-той скажу, ибо прямо-той уважаю: любая империя сама себе гибель готовит. Вот древний Рим возьми. При императоре Траяне все — блеск, богатство, территория. Взлет, венец, одним словом. А при наследнике его, Адриане, развалилось все, ничего от бывшего могущества не осталась. Так и Советская Россия — тоже

в своем роде империя. Народы в ней всякие жили, разноязыкие, разноплеменные, чужие друг другу, и власть, по сути, на штыках держалась. Не может жить такая власть, как дважды два — четыре, не может. Диалектика, дорогой мой.

— Так у нас же императоров не было, у нас Союз, — чувствуя какую-то неправоту в словах Соленого и не умея ее оспорить, возразил Панька.

— Э-э, мал ты еще рассуждать. Вырастешь — поймешь.

Соленый протянул Паньке руку, прощаясь, сказал:

— В волость поеду. Выйду на дорогу, поймаю транспорт какой-нибудь попутный. Отцу, как приедет, скажи, чтоб Бродягу накормил, а потом ко мне свел. Да не забудь.

Поскрипывая обтянутыми коричневой кожей белыми войлочными бурками, поднялся на крыльцо. Задержался чуть, закуривая.

— Ты, Павел Парамонович, мужиком смышленным растешь. Думаешь. Это, брат, хорошо. Однако привыкай мыслить большими категориями.

Что там не говори, а обращение по имени-отчеству — никто и никогда, кроме Соленого, не величал так Паньку: Павел Парамонович! — и серьезность бывшего между ними разговора, и похвала солидного человека вроде бы польстили пареньку.

Он стоял, улыбаясь, прислушиваясь к шагам Соленого на скрипящем снегу. Вскоре стихли шаги.

— Однако врешь ты, Фома Фомич, обломают немцы зубы-то об нас. Ошибся ты тут маленько! — сказал Панька, с силой втыкая лопату в снег.

Он пересек двор, залез на сеновал.

— Ты, Егор Иванович, закопайся в сено поглубже, — посоветовал он летчику. — А я партизан схожу поищу. Никому, кроме меня, не откликайся.

— С кем ты разговаривал, Паша?

— Полицей приходил, Соленый. Ушел уже. В волость поехал.

— Смываться мне надо, Паша. Как можно скорее.

Что-то щелкнуло в руках летчика — должно, пистолет на предохранитель ставил.

— Никому не откликайся, — повторил Панька.

40 На дверь сарая навесил он огромный приржавленный замок. Отец, — в случае,

Бродяге сено понадобится, — знает, где ключ взять.

А другим на сеновале делать нечего.

7.

Лыжи напористо бежали по снежному насту. За Панькиной спиной остались снежные нахлобучины незнамовских крыш, заиндевевшие осоки, родная изба. Впереди, за оврагом, чуть пробилась сквозь белесую муть синева леса.

«Повезет партизан встретить — часа за два обернусь. Приведу их с собой прямо в деревню», — гадал Панька.

На лыжах он бегал сноровисто. К искусству этому пристрастила его мать. Панька еще совсем мальчонкой был, до школы года полтора оставалось, когда Анисья, приладив к своим валенкам широкие отцовы лыжи, поставила сына на маленькие, в райцентре к дню его рождения купленные, вывела в поле, за руку подтащила к высокому сугробу.

— А ну, догоняй! — крикнула и, оттолкнувшись палками, ухнула вниз.

Панька не решился броситься за матерью: слишком высок показался ему сугроб, высок и страшен этой высотой, но — лыжи подвели: сами заскользили. Мать уже стояла внизу. Панька летел к ней снежным клубком, не разобрать, где голова, где ноги.

Снег залез ему за воротник, опалил ледяно взмокшее тело. Он в кровь рассек губу о палку, захныкал. Анисья подняла сына, отряхнула с него варежками снег, проворно вытерла ему мокрый нос, к рассеченной губе снег в горсти приложила.

— Мужик, — укорила, — а ревешь. Стыдно ить...

Панька в самом деле устыдился, замолк.

Во второй раз он сам упросил мать покататься на лыжах. Они бежали по снежному полю — по тому самому, по которому и сейчас Панька бежит, — и ветер парусом дыбил длинное пальто на матери, обжигал лицо. От бьющего по щекам ветра, от острой зависти к матери, которую он не мог нагнать и, как ни силился, отставал, плелся, ковылял позади, Паньке хотелось закричать. И он кричал, тонко, по-заячьи:

— И-и-и-эй!

Мать остановилась, поджидая, на румяных ее щеках, в глазах, на губах он видел смех. Она смеялась ему в лицо:

— Мужик, а от бабы отстаешь. Стыдно ить...

Паньке было стыдно, в Паньке раз от разу росла злость. Но и в тот день — а это нескоро случилось, — когда обогнал он впервые в снежном поле мать, невдомек ему было: как это, в пальто, в тяжелых валеных сапогах так ловко управляется она с лыжами, и почему они послушны ей?

Отец, встречая их после прогулки, радовался вместе с ними:

— Чисто красные яблочки оба...

А вот с отцом на лыжах Панька ни разу в поле не был.

«Отбегалась мамка», — грустил Панька, ныряя в овраг. Звенел и дыбился под ногами снежный наст...

Мальчик пересек овраг, вошел в лес. Слабые, неустойчивые тени лежали на молочном-белом снегу, и под тяжестью снега кряжисто корячились деревья. Ветки кустарника тонкими хвощинками торчали из-под снега у лыж на пути, сгибались под их весом и медленно выпрямлялись в рост.

«Снег-то недавно вроде падать начал, а сколько уже наворотило, — сам с собой рассуждал Панька. — Холодная но не зима, и 'снега вдоволь».

В лесу на лыжах идти трудней — наста нет, и словно в сыпучем песке тонут лыжи. Рыхлая сахарная пудра испятнана точками, крестиками, звездочками — мелкие птицы касались коготками.

Версты три прошел Панька напролом в глубь леса, затем повернул под прямым углом к своему следу и отмахал еще сколько-то, ничуть не меньше. Однако никаких примет, ничего похожего на пребывание в лесу партизан не обнаружил.

Зимние сумерки не наплывают — стекают стремительно. Только что был день, и вдруг затемнелось на горизонте, и сам горизонт, без того недалекий, приближаясь неукротимо, растаял, растворился в темноте, плотно и надежно окружившей тебя. Панька уже не бежал — трудно двигал ногами, усталый, заходясь дыханием, и рукастые ветви деревьев — при свете они не мешали ему — цепляли теперь за локти, рвали шапку с головы.

«Не нашел, не увидел, — сокрушался

Панька. — Вот Егор Иванович расстроится. Одной надеждой живет ведь...»

Потом его осенило. Остановился на опушке, откуда днем и Незнамовку видно, воткнул в снег палки, снял рукавицы и, приставив влажные руки ко рту наподобие рупора, закричал, сколько сил хватило:

— Эге-гей, лю-ю-ди-и!..

«Иидиии...» — отозвалось где-то в дальней стороне.

— Лю-ю-ди-и! Степа-аан! Митё-ёок! — кричал мальчик. — Это я-яааа, Панька-аа!..

«Иии-аааа... оооо...яаааа», — пересмешивая и угасая на расстоянии, отозвалось эхо.

— Люди-и-и!

Что-то ворохнулось над головой, ударило Паньку по затылку, осыпало на плечи снег.

«Они!» Панька обрадованно обернулся. Никого. Поднял голову. Сонно, почти невидимо покачивалась высоко над ним потревоженная любопытной белкой хвойная ветка. Воткнувшись в снег наполовину, лежала у ног сосновая шишка.

«Ладно, завтра разыщу, — утешил себя Панька, не желая расставаться с надеждой. — Пока домой надо. Как там мамка-то? Одна ведь...»

Панька возился с креплениями — едва распутал ремешки и веревочки стылыми пальцами, когда торопливо распахнулась дверь избы и кто-то вышел на крыльцо. Мальчик разогнул спину, пригляделся: перед ним, не видя его, стоял маленький тщедушный старик с белой бородкой клинышком, в очках, с чемоданчиком в руке. Он щурил глаза и сердито бормотал:

— Ночь... Как поеду?

«Фершал», — догадался Панька и шагнул к нему, желая спросить о здоровье матери.

Снова ухнула дверь, и за спиной фельдшера возникла понурая фигура Парамона Моисеича. Он стоял, низко опустив голову, как-то странно растопырив руки, и походил на подстреленную, отставшую от стаи птицу.

Все поняв и не смея поверить в случившееся, Панька медленно, с опаской пошел к отцу, оскользнулся на приступке. Старик фельдшер поддержал его под локоть, уступил дорогу.

Парамон Моисеич сполз на колени, уронил голову на грудь сына.



8.

В просторной, с щедрым запасом вырытой землянке, до которой Панька какой-нибудь полуверсты не добежал, коротали вечер партизаны. Их было пятеро, весь наличный состав молодого еще, недавно народившегося отряда «Смерть фашизму».

Желтый призрачный свет коптилки выхватывал из полутьмы щербатые черные стены потайного жилища, темные влажные лица людей, поблескивающий жирной смазкой ручной пулемет — он стоял на дощатых нарах, дулом на дверь.

Степан Филин, незнамовский мужик, бывший до войны конюхом, и пожилой сержант из окруженцев Илья Кремнев сидели за столом, друг против друга. Кремнев ершиком мурыжил ствол немецкого парабеллума. От усердия к кончику горбатого носа Кремнева прилипла прозрачная капля влаги. Филин, невысокий, широкоплечий, всегда с доброй улыбкой на толстых губах, при помощи какой-то замысловатой машинки крутил из затерханного газетного листка папирозные гильзы, туго набивал их самосадам. Крупно накрошенный табак для удобства лежал у него под левой рукой, горкой насыпанный на шершавые доски крепко сбитого стола.

На нарах, на разостланных полушубках и шинелях, бездумно глядя в низкий бревенчатый потолок, лежали Митек Назаров и бородатый Демид Прохоров. Длинному телу Демиды нары были коротковаты, и он согнул ноги под углом, выставил вверх угловатые колени, обтянутые ситцевыми штанами.

Пятый из партизан, худощавый и смуглолицый одесский грек Костя Константиди, сидел на корточках у каменного камелька, подбрасывал в огонь аккуратно наколотые чурочки, нервно поводил узкими мальчишескими плечами. Костю война застала на границе, с боями — в составе своей части — отступал до Смоленска, контуженный, попал в плен. Два с лишним месяца немцы держали его за колючей проволокой под открытым небом. Красноармейцы в лагере, товарищи по несчастью, — а последние недели пришлось на исход злой осени и начало суровой зимы, — замерзали и умирали каждый день десятками. Была бы и

Косте верная крышка, но ему посчастливилось бежать. С тех пор Константиди никак не мог согреться — все тянулся к огню.

— Умная штука. Дошлый народ эти фрицы, — подвел итог Филин, вбивая крошево самосада в последнюю гильзу.

Стряхнув табачную пыльцу с колен, он перебрал папиросу Демиду:

— Подыми, земляк.

Прохоров неуклюже присел, сгибая шею, протянул длинную руку из-за спины Кости, голыми пальцами ухватил в камельке горящий уголек. Горько пахло жженым табаком.

Сержант поднял парабеллум к глазам, открыл затвор, прищурясь, всмотрелся в ствол, хмыкнул довольно и спрятал пистолет в карман солдатских штанов.

— Дошлые, — согласился он. — И оружие у них отменное. Однако боевую заряженную трехлинейную я ни на что не променяю. Даже на этот вот довесок, — хлопнул он по карману.

Митек Назаров того точно и ждал — привстал, сел рядом с Демидом, невзрачный внешне, нахохлился воробьем. Устался в Кремнева своим единственным глазом, сверля его насквозь, передразнил:

— Не променяю... А когда дело-то будет? А? Залезли в берлогу и лапу сосед по-медвежьи. Не поймешь, честные партизаны мы или дезертиры... Только и подвигив совершили, что Филин мерина Соленому задарма отдал, чтоб он его, нечистого, копытом залягал! Ор-лы! Когда за настоящее дело-то возьмемся? И возьмемся ли?

Краска гнева, проступившая на щеках Назарова, не портила его умного, хищного лица.

Костя повернулся, подставляя огню спину, внимательно разглядывал товарищей. Улыбнулся, открывая крупные белые зубы, сказал, не скрывая иронии:

— Когда вам, беззаветным героям, поставят после войны величавый памятник из бронзы и гранита, благодарные потомки не вспомнят о мелочности распрей, кипевших в этой землянке. Станьте выше обыденности, мстители...

Филин что-то зло буркнул. По натуре своей он не умел сидеть без дела — постоянно искал работу, даже самую неблагоприятную, своим большим тоскующим рукам.

Добродушный Демид Прохоров махнул на Константиди рукой:

— Помолчал бы уж, Одесса, вечно ты с глупостями. Разве ж вы пригодны к военному делу? Посмотрите на себя — чисто бабы на ярмарке. Я вот что скажу: добренькие мы слишком. Полгода, почитай, Россия у немца под сапогом, а мы воевать никак не научимся — все бьют нас за нашу доброту.

— За одного битого двух небитых дают, — степенно вставил Филин. — Эх, ребята, в баньку б теперь наладиться, венничком березовым по спине пройтись...

— Прошелся б я по тебе! — вконец осерчал Митек. — Старосту ноне ночью пожалел, холуя немецкого. Распустил нюни.

— Чего ж безвинно? Парамон Моисеич людям худого не делал. Свойский мужик. Не с руки нам его...

— Жди, пока сделает. Летчика с Соленым вместе в поле рыскал, на пару.

— Как в воду канул летчик. Что за оказия приключилась?

Бородатый Демид вдруг насторожился, предостерегающе поднял руку:

— Помолчите-ка!

И пояснил, ловя на себе любопытные взгляды товарищей:

— Почудилось, шумит кто-то. Где стрелялка-то моя?.. Погляжу пойду.

— Бинобль возьми, — посоветовал Митек.

— А кой черт из него в такую темень разглядишь? — не понял насмешки Демид. Держа в могучих руках игрушечный карабин, пригибаясь низко, вышел. Однако холодного воздуха облепило в дверях его фигуру, пламя на гильзе-коптилке затрепетало.

В землянке тревожно ждали. Митек потянулся к пулемету, ласково погладил рукой полированное ложе.

Вернулся Демид не скоро, когда уж и обеспокоенный Кремнев подался былс на выход. Столкнулись они в дверях.

— Край леса шумел кто-то. Ребячий вроде голосок, детский.

— Может, заблудился кто?

— Наверяд... Поди, ребяташки незнакомские на лыжах бегают.

Кремнев снова устроился за столом, попросил у Филина папиросу, разминая ее пальцами, сказал строго:

— Порешить старосту или полицая — дело нехитрое. Их обоих голыми руками взять можно. А немцы кару на деревную

снарядят, людей погубят, баб, ребятишек. Ни к чему это, мало ли и без того крови... Надо по волости, по штабу ихнему ударить. К этому и готовиться будем, чтоб не с бухты-барухты. Силенок у нас не ахти пока, расчет наверняка делать следует...

И, прикуривая от трофейной зажигалки, добавил:

— Может, и без причины шумят на опушке, а дисциплины у нас нет настоящей. Не бережем себя. С нынешнего вечера будем выставлять ночной караул. Константиди, тебе заступать, собирайся.

Костя зябко повел плечами, виновато улыбаясь, продолжал сидеть у камелька.

— Давай я посторожу,— жалея теплолюбивого грека, предложил Филин.

Сержант не услышал его, приподнялся за столом:

— Константиди, службу забыл?

Костя порывисто вскочил на ноги, посуровев лицом, прошел в дальний угол, где на железном крюке висел тулуп.

Митек, отойдя душой, беззлобно рассмеялся:

— Смотри, беззаветный герой, раньше времени на морозе-то статуем не стань.

И стал устраиваться спать, догадываясь, что менять Костю придется ему.

9.

Бабы-соседки обмыли Анисью, положили в горенке на стол, прикрыв тело белой холстиной.

— Долго, знать, жить собиралась покойница, ничего смертного себе не приготовила,— посетовала вдовая красноармейка Дарья, перекопав содержимое Анисьиного сундука.

Парамон Моисеич не вмешивался в бабьи хлопоты: убитый горем, отрешенно сидел на скамье, неотрывно смотрел на покойную. И только когда одна из женщин хотела прикрыть лицо Анисьи куском прозрачной кисеи, принесенным с собой из дому, протестующе поднял руку, икнув, издал какой-то нечленораздельный горловой звук. Женщина поморгала бестолково, спросила осторожно, боясь за Парамона Моисеича:

— Когда хоронить-то?

44 Парамон Моисеич не ответил, и бабы, пошушукавшись, вполголоса попри-

читав над несчастной долей осиротевших без Анисьи мужиков—хозяина с сыном,— разошлись по домам, спеша управиться с собственными заботами.

Панька, пока обмывали и обряжали покойную, забыто сидел на кухне. Он не мог пересилить себя, войти в горницу—страшился увидеть сочувственные взгляды женщин, убитого скорбью отца и больше всего страшился видеть мертвую мать.

Кроме жалости к ней, с невыразимой силой давило его чувство вины перед покойной. Вины за то, что в последние минуты ее жизни его не было рядом, что вот—странное дело!—в том повинен, что не видел, как закрылись ее глаза, как последнее, теплое и судорожное, навсегда ушло из нее дыхание. Быть может, какие-нибудь слова хотела сказать она ему перед смертью, а он не услышал и никогда уже не услышит их.

Заметив, что бабы разошлись по домам, Панька вяло поднялся, отломил от пирога с картофельной начинкой—сердобольная вдова Дарья принесла—добрую половину, завернул в полотенце и вышел во двор.

Поднимался по лесенке на сеновал—непослушные ноги обрывались с переключин.

У летчика были ждущие, с голодным волчьим блеском глаза.

— Нашел партизан?— нетерпеливым шепотом спросил он.

Панька положил сверток на сено.

— Это тебе на завтра, на весь день. Я, может, не зайду...

После паузы набрался решимости сказать вслух то, что до этого только в мыслях держал.

— Мамка у меня умерла, Егор Иванович. Хоронить завтра будем.

Блеск в глазах летчика потух. Сильными руками Егор Иванович притянул к себе Паньку, погладил по ершистому затылку, неумело подбирая слова, хотел утешить:

— Горе, Паша, дружок, большое горе. Мужайся.

От кожаного одеяния летчика веяло холодным дымком, и еще едкий запах пота, немытого тела щекотнул Панькины ноздри, и он, как ни силился, не выдержал, заплакал.

— Ты не знаешь, какая она была,— кривя губы и не стыдясь своей слабости, простонал он.— Теперь что...

Летчик все гладил его по голове большой иззябшей рукой. Горькие слезы душили Паньку. Он размазывал их по лицу и все шептал, шептал бессвязные, бесполовые слова.

— Иди умойся, — сурово приказал летчик, отнимая руку. — Умойся и ложись спать. Ты завтра должен быть сильным. Да перестань же, Паша. О-о, если б я мог на ногах стоять!.. Паша, Пашенька, ну что ж это такое? Ты же мужчина... Ну!

Панька покорно сполз с сеновала, пропелся в кухню, поплескал в лицо затхлой водой из рукомойника и решил-ся, наконец, войти в горенку.

Парамон Моисеич недвижно сидел на скамье, устремив тусклый взгляд на восковое, строгое лицо покойницы.

Осторожно ступая, боясь нечаянно половицей скрипнуть, Панька подошел к отцу, сел рядом. Парамон Моисеич обнял его тяжелой и беспомощной, как высохшая картофельная плеть, рукой, прикачнул к себе.

— Вот, Паня, сын, — сказал надломленным шепотом, — вот... остались мы без мамки.

Скрипнул зубами.

— Вот... одни мы с тобой. Была б ко-рова — выжила б мать. А?

И больше до самого утра не пророл-нил ни слова.

На лице Анисьи, родном и уже отчуж-денном смертью, лежало выражение умиротворенности и кроткой покорно-сти судьбе.

...Утром, потемну еще, Соленый при-вез доски на гроб. Завел Бродягу во двор, по одной сносил доски в сени, за-тем появился в горенке. Неловко поклон-ился в пороге и, тяжело отдуваясь, ста-щил с головы лисий треух, сумрачно и не к месту изрек:

— Все в землю ляжем, все прахом будем... Диалектика.

И, тронув недвижимого Парамона Мои-сеича за плечо, позвал настойчиво:

— Пойдем-ка гроб сбивать. День ко-роток. Инструмент-то где у тебя?

Парамон Моисеич молча, по-стариков-ски шаркая подошвами подшитых вале-нок, вышел за Соленым в сени.

Оставшись один, Панька расслабленно по-сидел на скамье, почувствовал, как ход-лод жжет его тело.

«Мамке-то в могилке как зябко бу-дет, — пронеслось в воспаленном моз-

гу. — В самый декабрь умереть надума-ла».

Собравшись с силами, поднялся и вы-шел на кухню, чтобы истопить печь. Пусть в последний раз погреецца мама.

В сенях препротивно повизгивала руч-ная пила и, редкий, сбивчивый, стучал молоток.

Некрашенный гроб поставили на сани, запряженные Бродягой. Парамон Моисе-ич разобрал вожжи, понукая мерина, причмокнул тихо, и сани выкатили со двора.

— Давай вожжи мне, — предложил Фома Фомич.

— Не надо, я сам, — вяло отмахнул-ся Парамон Моисеич, выправляя коня на дорогу.

Соленый, утопая бурками в снегу, по-шел рядом с ним.

Панька плелся за санями. Из упрятан-ных в сугробы изб выходили закутанные в черные платки и шали крестьянки, ле-пились к небольшой кучке провожавших Анисью в последний путь, вздыхая, охая, крестясь и сморкаясь, брели, чуток при-отстав от Паньки.

Путь предстоял по зимнему снежному времени немалый: погост, общий с со-седней деревней Частые Дворики, нахо-дился верстах в трех от Незнамовки. Там, на погосте, немощные старики и подрост-ки по приказу Соленого выдолбили не-глубокую яму в мерзлой земле.

— Мальчишку жаль, — шумно вздыха-ла какая-то баба за Панькиной спиной.

В толпе негусто вторили ей:

— Хозяйка была покойница; царство ей небесное...

— И работница. По прежнему време-ни-то колхоз, чай, с музыкой проводил бы...

— Были б мужики дома — на руках гроб снесли бы...

Панька слышал все эти слова и вздо-хи сочувствия, холодно вбирал их созна-нием, ощущал спиной скорбные взгляды. Он догадывался, что люди искренне жа-леют и его, и отца, понимают их огром-ное горе, и от теплой, неназойливой бли-зости людей оно, горе, становилось еще острее, давило невыносимой ношей.

Когда завиднелись в стороне от доро-ги неяркие, облепленные изморозью кре-сты погоста и похоронная процессия свернула в поле, к воротам кладбища,

Соленый, вспомнив о чем-то, попридержал за рукав Парамона Моисеича.

— Ты уж извиняй, в волость мне позарез надо.

— Благодарствую,— безразлично кивнул Парамон Моисеич.

Фома Фомич приотстал, дождался, когда поравняется с ним Панька, и повернул назад.

...Едва гроб опустили в могилу и ударили о крышку комья мерзлой земли, Парамон Моисеич очнулся. Взвизгнув побабьи, забился в судорожном плаче, полез в яму. Панька обхватил его обеими руками, держал— и едва хватало силенок удержать отца. А когда вырос над ямой бугорок ноздреватой, перемешанной с темным снегом земли, Парамон Моисеич обмяк, стих, дернул головой:

— Прости нас, Анисья.

Надел шапку и незряче побрел в сторону, натываясь на кресты и могильные холмики.

Панька нагнал его, настойчиво потащил за собой и бережно, как ребенка, усадил в сани.

10.

В Незнамовку возвращались в сумерках.

Некормленный давно, заолодевший на морозе и прохватывающем ветру Бродяга рысцой тащил сани. Панька держал в руках вожжи, правил, почти не понукая мерина,— Бродяга хорошо знал дорогу к дому.

За Панькиной спиной отчужденно молчал отец.

Слева и справа от дороги равнинно мерцало широкое снежное поле. Крупные звезды загорались в небе, обливали мертвенным, негреющим светом сани, седоков в них, слабо укатанную дорогу.

Панька отыскал взглядом Полярную звезду, прижмурил неплотно глаза. От звезды во все стороны заструились острые светло-голубые лучики.

«А какая звезда мамкина?» — спросил он себя, широко открывая глаза и глядясь в темную твердь неба. Точно отвечая на его вопрос, крохотная зеленая звездочка неподалеку от Полярной вдруг мигнула яркой вспышкой, покатила по черному небосводу стремительной ракетой и стремительно, как ракета, сгорела.

«Наверно, эта»,— подумал Панька.

В самом начале обратного пути нагнал их, ослепляя светом фар, бронированный вездеход. Панька выпрыгнул из саней, оставляя в снегу глубокие следы, под уздцы свел Бродягу в сторону.

Вездеход притормозил. Немолодой толстый немец с изрытым оспинами лицом и офицерскими погонами на теплой серо-зеленой шинели высунулся из люка, прокричал что-то непонятное. Парамон Моисеич поднялся в санях, скользнул мутным взглядом по вездеходу, ничего не ответил. Офицер махнул рукой, и вездеход покотился дальше.

«Уйду к партизанам,— думал Панька, пряча лицо от ветра за куцым воротником.— Уйду и отца уговорю: теперь что нам изба... Новую наживем, когда война кончится».

Бродяга, чуя теплый двор и охалку сена, все чаще перебирал ногами.

Еще на подъезде к Незнамовке Панька услышал частую россыпь коротких автоматных очередей и глухое татаканье пулемета. Почуввав недоброе, он с силой хлестнул мерина, стал в санях в полный рост, вглядываясь в темноту.

Бродяга пошел галопом.

— На нашем конце палат,— тревожно вскрикнул Парамон Моисеич.

Бродяга влетел на улицу деревни. И в это мгновение на другом конце Незнамовки, там, где стояла их изба, рванулось вверх, рассыпая тысячи жарких брызг, чистое пламя, огненным крылом завесило полнеба. Тотчас стихли автоматные очереди и слабо щелкнул, утонув в пламени, одиночный выстрел.

— Горим! — дико закричал Парамон Моисеич.— Люди добрые, спасайте!

Он с силой толкнул Паньку в задок саней, вырвал у него вожжи и кнут, настегивая Бродягу, помчал к избе, не разбирая дороги.

Панька уцепился рукой за поперечину, снова привстал, вглядываясь вперед.

«Нашли Егора! — сверлила мозг отчаянная мысль.— Соленый нашел его, на след навел. Не зря на кладбище не пошел. Теперь как!»

Отчаяние навалилось на него. Что же будет теперь?

— Паамааги-иите! Гаа-ри-иим! — на высокой ноте вопил Парамон Моисеич, вожжами и кнутом настегивая мерина.

Страшной силы удар выбросил их из саней: Бродяга, обезумевший от диких



криков Парамона Моисеича, понукаемый болью, ослепший от яркого встречного пламени, дышлом врезался в угол избы красноармейской вдовы Дарьи, остановился, заржал пронзительно и горько.

«На меня бы не подумал Егор Иванович, — обожгло Паньку. — Говорил как: «У меня, парень, пистолет. Я не сдамся».

Барахтаясь в снегу, встал на ноги, побежал к дому. Больно колотила по бедру какая-то железка. Граната! За те дни, что носил ее в кармане шубенки, свылся с тяжестью. А сейчас «лимонка» сама напомнила о себе.

Подбежал ближе, увидел, что в пламени полыхает изба, двор, сарай с сеновалом. Метрах в двадцати от горящей избы стоял вездеход, тот самый, что обогнал их в дороге. Около машины, с нацеленными на пламя автоматами, сгрудились немецкие солдаты, человек пять. Один из солдат с трудом удерживал на поводке огромную овчарку. Она рвалась с поводка, лаяла громко и злобно.

Чуть в стороне от солдат стояли толстый офицер с пистолетом в согнутой под прямым углом руке и Фома Фомич Соленый. Почему-то к винтовке Соленого был примкнут штык, точно изготовился он шагнуть в рукопашную атаку.

— Русс пилот, выходи! — кричал офицер. — Сдавайсь!

— Выходи, парень! Сгоришь ведь. Выходи! — вторил ему Соленый.

В пламени щелкнуло что-то, неслышно и мягко, и Соленый вдруг подпрыгнул на месте, взмахнул руками и опрокинулся на спину. Ноги его в обтянутых коричневой кожей бурках задержались, выбивая яму в снегу.

Немецкий офицер торопливо отбежал в сторону.

— Врете, гады, не сдамся! — услышал Панька задыхающийся слабый вскрик летчика. Или то почудилось ему?

Ловя пересохшими губами морозный воздух, чувствуя острую — точно стеклом резануло — боль в груди, Панька достал из кармана гранату.

«Держись, Егор Иванович, держись! Сейчас я их, сволочей...»

Ему казалось, что он кричит, на самом деле это был шепот, не слышный никому.

Рванувшись в беге, четко различая лица не видящих его немцев, Панька выдернул кольцо, занес гранату над головой.

— А-а-а гады!..

В тот же миг кто-то со звериной силой ударил его по руке, вышиб гранату. Тяжелая, начиненная смертью, она отлетела в сторону, плюхнулась в снег и взорвалась безобидно, никому не причинив вреда.

Панька потрясенно обернулся. За ним, яростно скаля в беззвучном крике черный рот, стоял Парамон Моисеич.

— Зачем?! — дурнея лицом, спросил Панька. — Зачем ты так-то, батя?

Отец оттолкнул его за себя, за спину.

От вездехода, набычась, вразвалку, сжимая в руке пистолет, шел на них толстый офицер. За ним так же медленно, неотвратимо, прижав автоматы к тугим животам, шли солдаты в серо-зеленых шинелях. Освобожденная от поводка, обгоняя их, пласталась по снегу прыжками овчарка.

Надеясь на чудо, на несбыточное надеясь, Панька быстро опустил руку в кар-

ман шубенки. Но пальцы ничего не нащупали.

Он попятился.

Он не знал, не мог знать, что делается у него за спиной. Он не видел, что со стороны белого леса на пламя пожара торопливо бежали вооруженные лыжники, числом пять человек.

Не видел их и Панькин отец.

Парамон Моисеич стоял и заслонял собой сына. Толстый офицер в упор нагнулся на Парамона Моисеича и выстрелил ему в лицо.

В то же мгновение овчарка метнулась к Паньке в неотразимом прыжке.

Он поднял руки, защищаясь. Вскрикнул:

— Ааа!

Последнее, что запечатлело Панькино сознание, было внезапно ставшее изумленным лицом толстого офицера. Пистолет вдруг вылетел у него из руки, офицер отвернулся от Паньки и медленно, нехотя опрокинулся на спину.

И еще овчарка. Она как-то странно надломилась в воздухе и бессильно уткнулась мордой в Панькины ноги.

Густой пулеметной очереди и винтовочных выстрелов Панька уже не слышал.

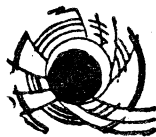
* * *

Очнулся Панька — и увидел над собой низкий бревенчатый потолок и знакомое, хотя и полузабытое лицо.

— Митек? — чуть заметно двинул он губами.

Партизан подмигнул ему.

— Никак ожил, бедолага? Ну, обрадовал! Вставай, паря, на ноги, неколи потягиваться. Самый сезон немца **бить**.





О. ШТРУБ, (Тюмень)

ПОРТРЕТ РЕЖИССЕРА



А. СЕДОВ, (Тюмень)

НА СТРОЙКЕ



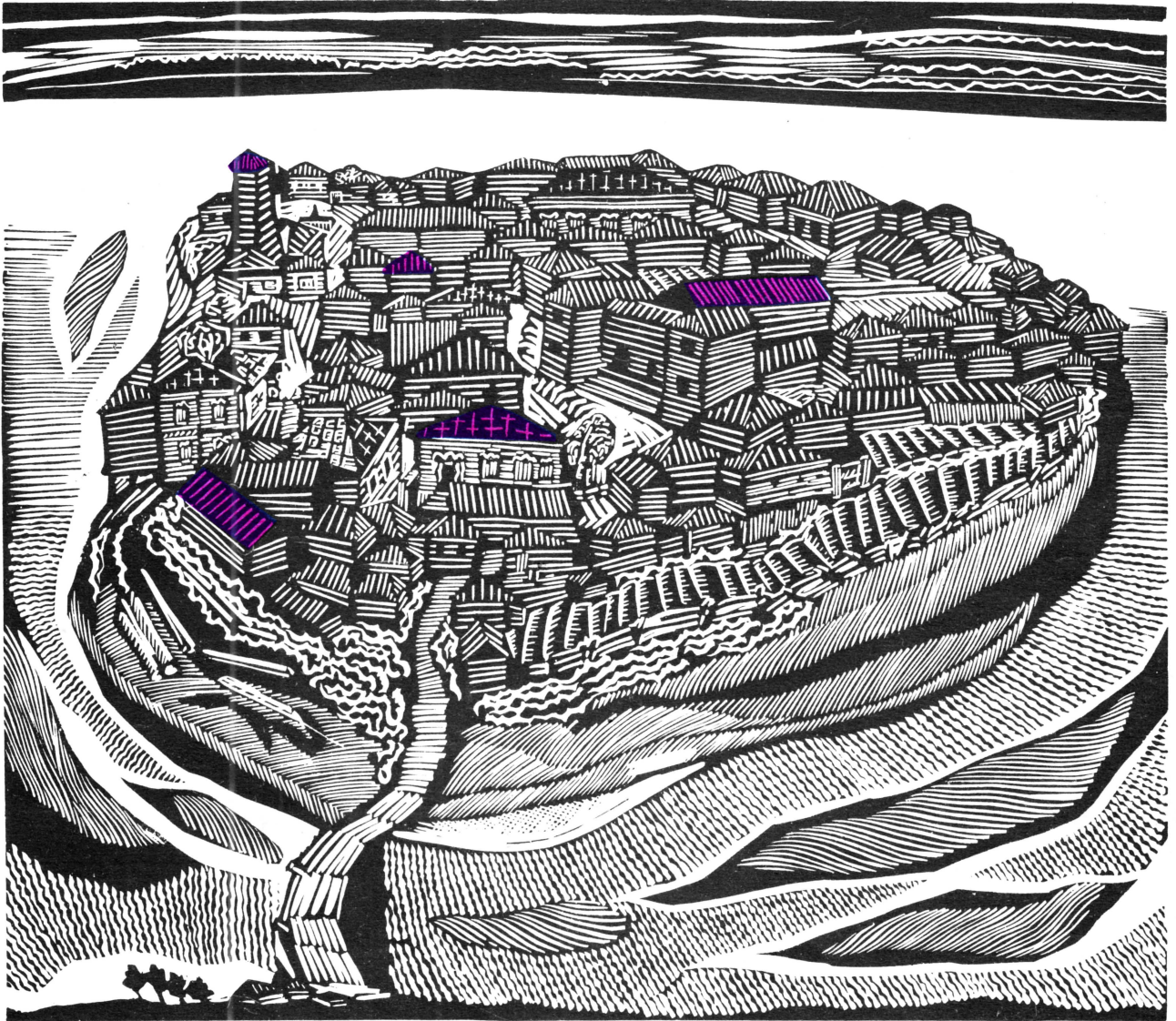
А. ТУМБАСОВ (Пермь)

АМБАРЫ ЧЕРДЫНСКИХ КУПЦОВ



А. ТУМБАСОВ (Пермь)

ЧЕРДЫНЬ



Г. РАЙШЕВ

ГОРОДОК НА СЕВЕРЕ

ПЕВЕЦ ТРЕХ НАРОДОВ

Семьдесят шесть лет тому назад, в 1895 году, под Миассом трагически погиб известный поэт башкирского народа Акмулла. Свои стихи и песни он слагал, переезжая на повозке-кибитке, набитой книгами, из кочевья в кочевье, из аула в аул в обширных степях Казахстана и нагорьях Южного Урала.

В отличие от старых певцов, представителей байско-феодальной поэзии, Акмулла был подлинно народным поэтом. Он высмеивал алчность баев, невежество мулл, призывал народ к просвещению. Для башкир и татар он слагал стихи на татарском языке, для казахов — на казахском. Поэтому каждый из трех народов считает его своим поэтом.

У Акмуллы было много врагов среди баев и мулл. Им удалось посадить поэта за решетку в троичскую тюрьму. Он стойко вынес все тяготы заточения и написал обличительные стихи:

Каков закон тюрьмы? Запомните навек:
Здесь человек узнал, что значит человек.
Сквозь прутья на окне мы видим, как мурзы,
В колясках развалясь, коней торопят бег.
Иные узники сидят по десять лет,
Дела их в Питере, ищи — затерян след.
Их руки связаны, их ноги в кандалах,
Напрасно гибнет здесь народа яркий цвет.

После освобождения поэта из тюрьмы недолго раздавались его песни в степях Зауралья и Казахстана. Акмулла нашли убитым между Миассом и селом Сыростан. Смерть объясняли нападением разбойников. Такая версия вполне

устраняла царских жандармов и феодальную мусульманскую знать. Однако сомнительно, чтобы шестидесятипятилетний старик, ехавший в повозке, груженной одними книгами, привлек внимание грабителей.

При жизни Акмуллы была издана лишь одна книжка его стихов в Казани в 1892 году. Сборник стихотворений, написанных в троичской тюрьме, появился спустя десять лет после его смерти. Потом, в 1907-м, их переиздали. В советское время произведения народного певца были опубликованы в 1935 году в Алма-Ате.

Известно, что поэта похоронили на мусульманском кладбище в Миассе. Но где была его могила? Кладбище это сейчас заброшено.

В прошлом году в Миасс приехали из Уфы сотрудники общества охраны памятников истории и культуры Башкирской АССР, Института истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР, Министерства культуры Башкирии. Вместе с краеведами и старожилами города они тщательно осмотрели все надгробные камни и отыскивали могилу поэта. Арабские письмены, высеченные на одной надгробной плите, округленной сверху, убедили краеведов, что это могила поэта-просветителя Мифтахитдина Камалетдиновича Камалетдинова, по прозвищу Акмулла.

Миасское общество охраны памятников взяло могилу Акмуллы на государственный учет. Со временем на ней установят памятник.

В. МОРОЗОВ,
сотрудник Миасского
краеведческого музея

ЧУДЕСНЫЙ КОЛОДЕЦ

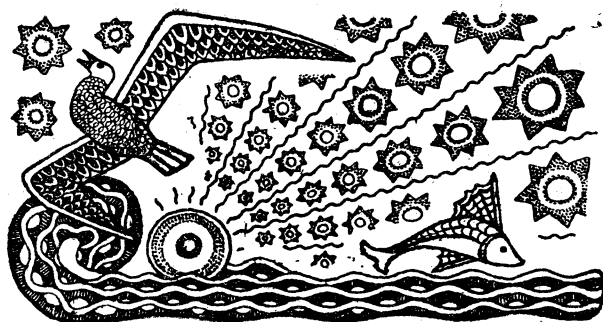


Печорский монастырь в Псковской области — весьма своеобразный памятник истории и архитектуры. Построен он в глубокой древности, первые данные о нем относятся к 1392 году.

Во дворе этого монастыря под оригинальным деревянным покрытием находится чудесный колодец. Когда-то монахи объявили его воду «святой», и со всех концов России к нему стекались люди. Как рассказывают предания, особенно много «святой» воды употребляли при царском дворе.

На самом же деле в колодце обыкновенная минеральная вода, поступающая из естественного подземного источника.

Я. МЕЙСТЕРС, Латвия.



И прошумит вдоль рощи мятый,
Протяжный ветровейный ток —
Опять пройдет промеж лопаток
Сквозной текучий холодок.
И так ли мне тревожно стэнет,
Что мимо мчатся поезда.
И снова вдаль меня потянет,
Туда,

где строят города.
Но трав — косить не укосить.
И я, вздохнув, брусок достану.
Потом решу косу отбить,
И звон летит вослед составу.

Николай МЕРЕЖНИКОВ

■

Твердь неба
На семи стоит столбах
Из солнечного золота.

И в блеске

Текут под ней поля и перелески
И села в пятнах праздничных рубах.

Спокоен мир.
В огромных зеркалах
Покоится полнеба —

синь на сини.

И обозначен — в травах — след лосиный,
И реактивный след — на небесах.

Береза

Кто
ее искривил
в малолетстве!
Холод ранний ли ствол ей ожег!
Снег ли поздний упал на ветви!
Зверь ли грузный
обрушил
прыжок!

Детство кончилось.
Минули годы.
Снова медом пахнуло от лип.
И уходит она к небосводу,
повторяя все тот же
изгиб.

■

Когда в заречные просторы
Втекут колесные басы,
Когда качнется поезд скорый
Под семафор моей косы

Александр РОМАНОВ

Масленица

Не чудится ли! Тройка
Площадью рысит!
И в первый раз в сторонке
Держатся такси.
Откуда эти лошади
Очутились тут!
Неловко, огорошено,
Конфузливо бегут.
За ними сани старые,
А в них — полно ребят.
Веселые и самые
Счастливые сидят.
Ах, масленица! — вспомнил.
Всего захолюня,
Не лошади, а кони
Уже возле меня.
И в синеве заснеженной
Хохочет бубенец,
Полозья площадь режут
Из конца в конец.
А сани точены,
А дуги золочены,
И конь мой здесь
В жарких лентах весь.
На скрещенье дорог
Красных девок табунок.
Я поводья тяну:
Вижу, вижу одну.
Все смотрю сбочка,
Как на яблочко.
Набираю, нажимаю
Снега белого комок.
Он летит на полушалок,
Рассыпаясь возле ног.

Ох, догадлива, смела,
Серым глазом повела.
— Не заигрывай так,
Прокати лучше...
И уже конь-ветряк
Задевает тучи.
Я кричу: с чего начнем,
Чем прогулку кончим?
У нее горят огнем.
Не глаза, а очи:
— А блинами мы начнем,
Поцелуем кончим!

Небо

Ввинчиваясь в высоту упорно,
Самолеты виснут над селом —
Будто бы серебряные сверла
Стружку тянут в небе голубом.
То гудят до звона, до надсады,
То постыхнут вроде бы, и вдруг,
Словно выстрел, покачнет посадки
С высоты упавший звук.
Дед с крылечка смотрит полуслепо.
Он всю жизнь рубил, пилил, строгал
И, дивясь, твердит сейчас: «А небо —
Видно, тоже крепкий материал»...

**Петр
РЕУТСКИЙ**

Несбывшееся

И нет конца, и нет начала
Моим несбывшимся мечтам.
Вновь прохожу по тем местам,
Где ты, счастливая, скучала.
Как пароход, ищу причала.
Гореть, гореть моим мостам.

Пух с тополей летит порошей,
Его движенья так легки.
Не подаю друзьям руки,
Сегодня просто я прохожий.
Упал, во всем с тобою схожий,
Луч света поперек реки.

Я никогда не перестану
Ждать, восторгаясь и скорбя.
Мне не достанет лишь тебя,
Когда я жить один устану.



Чуть слышно лось проходит к стану,
Тревогу тайную трубя.

Хотел бы жить начать сначала,
Чтоб все не так и все не там.
Но гордость ходит по пятам.
Ты не ждала и не скучала,
А я опять ищу причала
Моим несбывшимся мечтам.

**Владимир
МАТВЕЕВ**

■
Не позабыть мне трудные минуты,
Когда казалось:

жизнь —
на волоске,

Но вспыхивала вдруг

сирень
салютом,

И маки загорались на песке.

И солнце исцеляюще касалось

Своим лучом

небритого лица.

И понимал я —

просто показалось,

Что жизнь прошла.

У жизни нет конца!

И если все же

упаду в атаке

И в плен к бездушной смерти попаду,

Все так же будут

загораться маки,

Сирени грозди

вспыхивать в саду,

И солнце так же ласково коснется

Своей рукою теплою

стрехи,

И кто-то будет

радоваться солнцу

И, славя жизнь,

писать о ней стихи.



НА ПРИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА

ПОДВИГ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Пять лет назад в школу № 17 Свердловска пришло такое письмо:

«В далекой неметчине, там, где когда-то находился лагерь смерти Дрютте, в земле навечно покоятся мои лучшие друзья — украинец Федор Симоненко и уралец Николай Найденов. Я посадил у той могилы два клена. Очевидно, они теперь подросли и шумят над той священной могилой.

Николай Сергеевич Найденов безгранично любил свою Родину. Он ненавидел гитлеровцев. Мстил им за страдание и горе, принесенное нашему народу, и до последних дней храбро сражался с ними. Память о нем никогда не умрет. Он совершил неповторимый героический подвиг».

Николай Найденов? Да ведь это выпускник нашей школы! Ребята решили немедленно начать поиски. Ответили автору письма Василию Рогуленко, разыскали родственников Николая. Его сводная сестра Елена Александровна Волкова передала в школу извещение о гибели брата, фотографии и письма. Она рассказала следопытам, что Коля родился 14 ноября 1921 года в Свердловске. Жил по улице Большакова, 5б.

Познакомились ребята и с Колиными учителями — Августой Тимофеевной Гушиной (она до войны работала директором семнадцатой школы) и учительницей химии Клавдией Ивановной Протопоповой.

Августа Тимофеевна рассказала: «Таких, как Коля Найденов, запоминаешь надолго. Он был запевалой всех интересных дел. В то время мы в школе организовали духовой оркестр. Коля играл на трубе. Но через

два года руководителя призвали в Красную Армию. Музыканты приуныли. Кто будет руководить оркестром? Где взять дирижера? А потом подумали: не выбрать ли из своих? Выбор единодушно выпал на Колю. И надо сказать, не ошиблись ребята: оркестр звучал отлично!».

Паренек постоянно был чем-то занят: то он сидел над оформлением школьной стенгазеты, то писал стихи, то уходил в музыкальный класс и сочинял музыку. В десятом классе Николай написал «Марш школьника», который в те годы звучал не только в стенах родной школы.

А вот какой отзыв о своем ученике дала Клавдия Ивановна Протопопова: «Любознательный, жизнерадостный, смелый. Пользовался большим уважением среди товарищей. Увлекался музыкой. Для химического кабинета изготовил много таблиц, схем, диаграмм. На конференциях выступал с докладами».

Весной 1939 года Николай вступил в комсомол. Из райкома прибежал к директору школы.

— Августа Тимофеевна, приняли! Я теперь комсомолец!

— Поздравляю, Коля! Думаю, ты всегда будешь верен ленинскому делу, — сказала Августа Тимофеевна.

— Обещаю, верьте мне!

Через год Николай ушел в Красную Армию. Он мечтал стать командиром. Великая Отечественная война застала его в Латвии, в городе Плявинясе. В одном из боев Найденов был тяжело контужен и попал в плен. Его отправили в Германию, в лагерь для воен-

нопленных Дрютте. Вот здесь-то Николай и познакомился с Василием Рогуленко.

Пленных морили голодом, били, пытались завербовать в так называемую «русско-освободительную армию» генерала Власова. Найденов и Рогуленко наотрез отказались. Однажды они нашли под подушками рукописные листовки: «Друзья! Будьте патриотами своей Родины, не идите на провокацию. Власов — наш заклятый враг». Через несколько дней появилась новая листовка: «Гитлер — это кровавая собака! На виселицу бандита Гитлера! Гитлера, Геринга, Гейбельса к ответу! Их будет судить народ! Мстите фашистгана-насилыникам! Смерть немецким оккупантам!»

Значит, есть в лагере антифашистская организация?! Но как с ней связаться?..

Каждый день пленных отправляли на тяжелые работы в каменоломни. Здоровые поддерживали больных. У многих опухали ноги. Если человек падал, на него натравливали овчарок.

Как-то не выдержал и Найденов; он был истощен и страдал от контузии. К нему на выручку поспешил рослый белокурый парень, подхватил его и довел до лагеря. Вечером, когда Найденов и Рогуленко лежали на нарах, к ним подошел тот самый парень:

— Иван Артамонов. Будем друзьями.

Вскоре Артамонов помог устроить Найденова на лагерный склад, где хранились одежда и обувь заключенных: полосатые куртки и ботинки на деревянных подошвах.

В мае 1942 года в лагерь пригнали очередную партию пленных. Артамонов привел на склад здорового плечистого человека и попросил Найденова:

— Подбери Минакову подходящую обувь. У него опухли ноги.

Так состоялось первое знакомство Найденова с одним из руководителей Ганноверской антифашистской организации Максом Григорьевичем Минцем, носящим кличку Минаков.

Более двух лет следопыты разыскивали М. Г. Минца. Помог архив Вооруженных Сил Советской Армии. Ребята узнали, что кандидат технических наук Макс Григорьевич Минц — старший научный сотрудник одного из научно-исследовательских институтов Госстроя СССР.

Минц сообщил, что вскоре после первой встречи он вместе с Николаем Найденовым готовил побег заключенных — Григория Климова из Москвы, Михаила из Куйбышева (фамилию не помнит). С ними должен был бежать и он сам.

«Побег, — писал Макс Григорьевич, — был совершен через полтора месяца после моего прибытия в лагерь. При облове в лесу моих двух товарищей схватили, а мне удалось скрыться. После этого я больше месяца бродил один, но вырваться не удалось. Меня поймали и доставили в тот же лагерь, откуда я бежал. Ночью ко мне в карцер пробрались товарищи, в том числе Найденов, принесли суп и хлеб, остригли голову и наложили повязки на раны (я был жестоко избит эсэсовцами). В четыре часа утра меня под конвоем отправили в штрафной шталаг XI-Б в город Фаллингбостель. Второй раз я встретился с Николаем уже в общей камере тюрьмы в Вольфенбюттеле, в четырнадцати километрах от города Брауншвейга, куда были отправлены члены комитета, руководившие многочисленными подпольными группами в различных рабочих командах».

Макс Григорьевич прислал адреса бывших военнопленных, активных участников антифашистской организации Ганноверского центра: инженера Министерства сельского строительства во Фрунзе Владимира Григорьевича Андрию-

шина, врача Шатурской центральной районной больницы Владимира Ильича Агилева, врача из Волгограда Антонины Александровны Трофимовой.

Потом пришло письмо и от Антонины Александровны. Она сообщила адреса руководителей Ганноверского антифашистского подполья — Георгия Григорьевича Овчинникова и его заместителя Владимира Ивановича Якимова.

Так постепенно ребята узнали, что в начале 1942 года в Ганноверском военном промышленном районе советские военнопленные, работавшие на различных заводах, сумели организовать несколько подпольных антифашистских организаций. Та, которой руководили Г. Г. Овчинников и В. И. Якимов, входила в Ганноверский центральный антифашистский комитет. Комитет постоянно вел пропаганду против вербовки военнопленных в так называемую «русско-освободительную армию», распространял рукописные листовки, призывая бороться с гитлеризмом, рассказывая об истинном положении немецкой армии на Восточном фронте, подготавливал диверсии на заводах, где работали военнопленные.

По поручению комитета Николай Найденов сумел раздобыть части и детали к радиоприемнику и собрать его. Теперь подпольщики слушали голос Родины.

9 ноября 1942 года вместе с товарищами Найденов расклеил на Пейнеском прокатном заводе листовки: «Фашисты, — говорилось в них, — кровавые мучители. Они уничтожают миллионы безвинных стариков, женщин, детей! Смерть гитлеровцам!» А 10 ноября над заводом взвилось красное знамя. Это тоже сделали советские патриоты.

Весной 1943 года в лагерь Дрютте была доставлена партия военнопленных из Фаллингбостеля. В ней оказался активный подпольщик Федор Симоненко. По заданию подпольного штаба он возглавил дрюттевскую организацию, познакомился с Артамоновым, Минцем, Найденовым, Рогуленко. На одном из тайных заседаний было решено перейти к диверсионной работе.

Вскоре на одном из заводов вывели из строя дробилку. Ремонтная бригада Федора Си-



моненко растянула ремонт на целый месяц. Потом начались побег из лагеря. Их главными организаторами были Найденов и Рогуленко.

Симоненко видел в Николае надежного помощника, поэтому он поручил ему с группой товарищей пробраться в соседние лагеря и заводы и там организовать диверсии. В октябре 1943 года на заводе, расположенном недалеко от города Брауншвейга и выпускавшем самолеты и торпеды, подпольщики взорвали электростанцию.

Эсэсовцы сбивались с ног в поисках виновных, хватали военнопленных пачками. Найденову удалось благополучно вернуться в Дрютте. Теперь для заключенных был установлен особенно строгий режим, лагерь перевели на положение штрафного, но патриоты не сдавались. Они готовили новую диверсию. По предложению Федора Симоненко решили вывести из строя прокатный стан.

Глухой ночью на тайном заседании подполья Федор спросил: «Кто готов взять на себя выполнение этого сложного и опасного задания?» Встал Николай Найденов. Встали Артамонов и Рогуленко.

Через несколько дней на заводе прекратился выпуск танков.

Гестаповцы хватили «подозрительных», десятками бросали в «каменные мешки», заставляли давать даже воду. Были арестованы Найденов и

Артамонов. Их отправили в штрафной лагерь XI-13-321, где заключили в одиночные камеры. Это был самый страшный лагерь в районе Ганновера. Вырваться из него можно было только чудом.

Но Артамонову повезло. Через несколько дней его, как слесаря-сборщика высокой квалификации, отправили обратно в лагерь Дрютте. Здесь он рассказал Федору Симоненко о судьбе Николая. Товарищи решили спасти Найденова. После обсуждения различных планов остановились на таком предложении Федора Симоненко: обратиться к лагерному начальству с просьбой организовать в лагере духовой оркестр.

Затея бригадира понравилась начальнику.

— Только нужен хороший дирижер. — сказал Симоненко. — Говорят, в штрафном есть талантливый музыкант — Найденов.

— Гут... — ответил фашист. — Если он еще жив, то постараюсь обменять...

Через неделю Николай снова был со своими друзьями. От истощения он еле передвигал ноги. Каждый из подпольщиков старался отдавать ему часть своего скудного пайка. А вскоре Николая удалось устроить работать на кухню.

Первого мая 1944 года патриоты решили взорвать на танковом заводе электропечь. Пронести в цех взрывчатку поручили Найденову. И вот, когда взрывчатка уже была заложена в шихту, в цех ворвались гестаповцы. Однако машинист успел опрокинуть мульду в печь. Раздался взрыв, брызнула огненная масса жидкого металла...

В тот же день в лагере арестовали двадцать три подпольщика, в том числе Федора Симоненко, Николая Найденова, Ивана Артамонова. Фашисты требовали назвать имена

руководителей подполья. Арестованные молчали. Начались изощренные пытки. Но даже смерть оказалась бессильной перед мужеством героев.

Ничего не добившись, фашисты вывели раздетого Николая во двор и натравили на него овчарок. Найденов, собрав последние силы, бросился на одного из гестаповцев и впился ему в горло зубами. Раздался выстрел, второй, третий...

О последних днях нашего земляка рассказал следопытам Василий Андреевич Рогуленко.

В комнате Боевой славы школы № 17 следопыты оформили стенд, посвященный Николаю Найденову. Подвиг за колючей проволокой выпускника школы Николая Найденова — пример мужества, отваги и безграничной преданности Родине.

Л. ГОЛУБЕВ



СУКСУНСКИЕ

КОЛОКОЛА

О Суксунском заводе и его замечательных умельцах, мастерах медной посуды. «Уральский следопыт» рассказывал уже не раз (см. № 10 за 1960 г., № 6 за 1961 г. и № 10 за 1969 г.). Но вот о мастерах суксунских колоколов вспоминают редко.

Литье колоколов в Суксуне начал еще в первой половине XIX столетия литейных дел мастер Колокольников. Его продукция высоким качеством не отличалась, и Колокольников вскоре уехал. А вот сменивший его Михаил Федорович Ерофеев сделал суксунские колокола знаменитыми. Стремясь добиться хорошего звучания, мастер стал отливать колокола с разной толщиной стенок, делал в верхней части их ребристую стенку, менял компонен-

ты сплавов и их пропорции. Ерофеев первый испробовал присадку бериллия в сплав, и отлитый колокол зазвучал мелодичным, сильным, не похожим на других своих собратьев звоном. Первый же отлитый для Суксуна колокол, весом 275 пудов, поразил всех своим звуком, он был хорошо слышен в Кунгуре и Красноуфимске, хотя расстояние до этих городов превышало 50 километров.

Слава о суксунских колоколах привела их... на сцену Большого театра в Москве.

В 1853 году здание театра сгорело. При пожаре театральная звонница обрушилась, колокола разбились. Через три года звонницу восстановили. Солдаты из Суксуна, ремонтировавшие ее, послушали звук колоколов и заявили: «Это не

то... Вот бы наши, суксунские сюда!». Кто-то из музыкантов не оставил без внимания эти слова, и в Суксун направилась специальная комиссия. Кто именно приезжал, установить не удалось, но известно, что комиссию сопровождал пермский губернатор, а это доказывает, что она была весьма представительной. Прослушав суксунские колокола местной церкви, а также отлитые для других заказчиков, комиссия заказала комплект для звонницы Большого театра. Спустя несколько лет театр получил 48 колоколов весом от 3 фунтов до 400 пудов. Они звучали при исполнении опер Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина и Мусоргского.

А. ШАРЦ

Красного Яра лето писец



Рассказ

Кирилл БОГДАНОВИЧ

Рисунки Е. Стерлиговой

Ежели выйти из Красноярского острога в посад да идти все прямо к речке Каче, то упруешься в крайнюю избенку, за которой, oprичь тайги, уже ничего нет. Вот к той избенке и шел новый десятник конной сотни Афонька Мосеев, недавно поверстанный замест убитого киргизами Романа Яковлева.

Шел Афонька по великой нуже — писать челобитную воеводе, чтобы дозволено ему, Афоньке, было от острога в деревенци отойти, как, стало быть, у него семья, уже скоро третье дите будет, пашни старой мало, а новую наискивать далеко: вокруг острога уже все земли запаханы. Вот ежели где в подгородной деревне ему место найдут, то будет лучше. А пашни запахать он сможет больше, у него работник есть, купленный по весне мунгал — мужик молодой и сильный. И лошади две есть, oprичь его ратной; купил пару у киргизов. Обо всем этом надо отписать воеводе в челобитной, а кто же и отпишет, как не подьячий приказной Богдан, что живет в той украиной ото всех избенке?

Правда, дом-от настоящий у подьячего в остроге, близ приказной избы, но Богдан себе еще один поставил, в посаде,

и все время свободное живет там без семьи. А семья — баба его и две девки — те завсегда в остроге остаются.

В избенке во этой, Богдашкиной, Афоньке еще не доводилось бывать, потому как и заделя никакого до Богдашки у него не было. Что ему, Афоньке, до Богдашкиных крючков? А вот тут понадобилось. Воевода с атаманом велели, как им Афонька все обсказал, нуждишку свою, чтобы писал он челобитную: мол, полагается так сейчас. На каждый спрос, на каждое прошение — чтоб только по бумажке. А грамоте промеж казакон мало кто учен, вот все и идут к людям письменным.

Афонька несильно стукнул в кое-как навешанную дверь, сбитую из разного дреколья, — не великий мастер был Богдашка в плотницком ремесле.

— Взойди, взойди, кто там, — отозвался подьячий.

Ткнул Афонька двери, взошел в избу, сразу в горницу, — сенок в избе не было.

В горенке светло — два оконца супротив двери в тайгу смотрят да еще одно по правую руку, около него стол простой дощатый приставлен. В оконцах рамы, слюдой забранные.

— Тебе чо? — спросил строго Богдан. Он сидел за столом, когда вошел Афонька, а сейчас привстал с лавки, положивши руку на толстую книгу, что раскрыта была перед ним. — В приказ, поди-ка, кличут?

— Нет, — мотнул головой Афонька. — Я сам по себе пришел.

— А зачем?

— Так вот надобно.

— Ну, сказывай, в чем надобность твоя, — не очень-то приветно ответил Богдан и сел на лавку, а книгу захлопнул.

Афонька переминался с ноги на ногу, стоя у порога.

— Ну, ну, — подшевеливал подъячий, — не томись. Сядь вон на ту лавку.

Афонька, кашлянув в кулак, протопал к стенке и осторожно, бочком, присел. Потом сгреб шапку с головы, увидевши малую иконку в красном углу, перекрестился и положил шапку около себя.

— Слышь-ка, Богдан Кириллыч, мне бы челобитье написать, — начал Афонька. — К воеводе докука есть.

— Челобитье, — протянул Богдан. — Эва, челобитье! А площадной подъячий на чо? Шел бы ты к нему, Афанасей.

— Да ты лучше напишешь! Тому пока растолкуешь, да пока он скрести почнет... А дело-то у меня сурьезное.

— Вестимо — сурьезное, по пустякам и вздору челобитья не подают, oprичь сутяг и каверзников. Однако недосуг мне, Афонька, челобитные расписывать. Тут приказных да воеводских грамоток писать не переписать. Вот только вырвался от воеводы до своего, а тут вона — Афоньке нужна приспичила!

— Уважь, Богдан Кириллыч, — стал молить Афонька. — Уж я в долгу не останусь.

— Ну что вы за народ — люди красноярские, поперечные! Ему стрижено, а он свое — брито.

Богдан сунул пятерню в свою густую кучерявую волосню, поскреб. Поелозил по лавке.

— А, ладно, давай, — махнул он рукой. — Другому бы отказ дал, а тебе... Ладно уж. Давай говори, чего писать, пока я налаживаюсь.

Богдан вылез из-за стола и пошел в угол, где стояла большая, окованная железом укладка.

— Ну, чо у тебя? — говорил Богдан, нагнувшись над укладкой и шурша в ней бумагой.

— Так, стало быть, вот чо... — и Афонька начал обсказывать свое дело.

Богдан сидел насупротив него за столом и, разложивши бумаги, писал, обмакивая гусиное перо, которое только очинил, в оловянную чернильницу.

«Государю господину воеводе Красноярскому десятнику конной сотни Афонька Мосеев бьет челом. А прошу аз, худородный, господине, твоей милости на жительство мне в подгородной какой деревне, потому как достатки имею невеликие, а семья большая и надо много пашни пахать, а сам аз все в службах разных, и близ острогу сподручной пашни новой нету свободной. А та, которая пашня мой надел, невелика, а иные места мне отводят в местах от острога укранных...»

Быстро же бегаёт перо у Богдашки, дивился Афонька, глядя, как ловко выводит тот на бумаге буквицу за буквицей.

Сам Богдашка мужичонка невидный. Ростом не вышел и телом тоже невелик и худ, плечи узкие, руки в кости тонкие, ровно у мальчика. Глаза небольшие карие, губы толстые, нос курносый. Только волос на голове богатый — густой и кудрявый, а в том волосе уже нити белые блещут, ровно паутина на меже. А на усах и бороде волос редок, жидок, что у тарина. А лицо уже в морщинах изошло, хотя Богдашке лет не так уж и много, за половину пятого десятка всего пошло. И, видать, все его умение — пером скрипеть. Дело это, конечно, великое, а вот иного чего Богдан и не знает, как делать. Вон себе избенку изладил. Смех один — какая это избенка. Ребятишки — и те, поди-ка, лучше изладят. И стол тоже — на чурбаках плахи наложены, кое-то как остроганные. А более, oprичь укладки да лавок широких по стенам, и убранства иного нет. В углу очаг сложен, пол земляной. На одной лавке кое-какая лопотина брошена — спит, видать, здесь Богдан.

Кончивши писать челобитную, Богдан подал Афоньке перо: подпиши. Нет, мотнул головой Афонька, я лучше руку приложу. Он окунул палец в чернильницу и припечатал его внизу челобитной. Потом отер палец полой кафтана. Взявши челобитную, осторожно положил ее вчетверо и сунул в шапку.

— Дай бог тебе здоровья, Богдан Кириллыч. Уж я тебе отплачу, сколь, значит, за труд надобно. Алтын там, али сколь — как скажешь.

— Ладно, Афонька, сквитаемся. Мзды мне с тебя не надо, а вот ежели можешь, стол изладить пособи. Вишь, какой у меня — срам один.

— Это завсегда можно, — охотно согласился Афонька. — Это я тебе завтра же спроворю. Припаси только досок добрых. Али погоди... Есть на посаде у одного мужика доски добрые — сухие, строгаемые. Он мне сулился отдать за бредень. Так я их приволоку.

На другой день Афонька, пришедши пораньше, быстро сладил добрый стол. Богдан, взявшийся было помогать, только путался под ногами и мешал, и Афонька попросил его христом-богом уйти в приказ и до полудни не приходить. Мне, мол, так способнее будет, без тебя.

Когда стол был излажен и поставлен взамен старого, который Афонька вынес из избы, пришел Богдан. Он поехал, походил вокруг стола, нахваливая Афоньку — ах, молодец. Потом вытащил из-за пазухи невеликую глиняную сулейку и поставил на стол.

— Сух, Афоня, стол-то. Замочить надобно.

— Как это замочить, — удивился Афонька. — То и хорошо, что сух!

— А вот так, — хитро глянул на него Богдан и стал разматывать узелок, который с собой принес. В узелке был добрый кус хлеба, рыба соленая, две луковицы, редька, несколько ломтей вяленого мяса. Афонька сглотнул слюну — сразу в брюхе заурчало.



— Не обедал, поди-ка? — спросил Богдан.

— Нет еще. Вот сейчас до дому пойду.

— Э, нет, погоди! Давай-ка вот, стало быть, — пообедаем и стол замочим. — Богдан взял сулейку и потряс ею. В ней забулькало. — Хлебнем, Афоня, с тобой малость на новом столе, чтоб способней писать было.

— А, вона чо, — улыбнулся Афонька. — Ну, давай, коли так.

Они сели за стол, и вскоре ни от припасов, что Богдан принес, ни от того, что в сулейке было, ничего не осталось.

Подъячий от вина быстро осоловел.

Он сидел, улыбался, оглаживал рукой гладкие доски на столе. Даже раздумянулся весь.

— Хорошо теперь писать будет на таком столе!

— А ты чо здесь пишешь-то? — спросил Афонька. — Али тебе в приказе места нет, а то, может, не доспеваешь все писать-то?

Богдан помолчал, посидел, прикрывши глаза и оперши голову на руку, потом глянул на Афоньку.

— Эх, Афоня, Афоня! Чо в приказе толку? Это все такое дело... Там государевы дела разные, отписки на Тобольск, на Енисейск, на Москву, книги писцовые, описи... А тут я пишу иное.

— А чо? — залюбопытствовал Афонька.

— Про острог наш пишу, про Красноярский. Чо в какой год случилось.

— А зачем? — изумился Афонька.

— Как зачем? Чтобы всем ведомо могло быть, как и чо в нашем остроге было.

— Так то и так всем ведомо! Чего писать-то? Ты, Богдан Кириллыч, чего-то мудруешь, али я умом скуден — никак в толк не возьму.

— Нет, Афоня, умом ты не скуден, а в толк не возьмешь потому, что не ведаешь книжной премудрости и для чего служить она может.

— Это верно — не обучен.

— А это дело великое есть! Великое, — прошептал Богдан и снова глаза прикрыл.

— Ну-у, вестимо, великое, — не совсем уверенно отвечив Афонька, сиясь уразуметь, чем же еще велика премудрость книжная oprичь того, чтобы книги богослужебные честь и разные грамоты и челобитные писать.

— Вот ты говоришь, — начал подьячий, открывая глаза, — что в остроге и так всем ведомо, чо у нас в Красноярске случается.

— Ну?

— А вот то-то, что ведомо, да на день, на два, на год, на два ли. А потом чо?

— Как чо? — не понял Афонька.

— Ты вот скажи, когда киргизский набег великий на острог был? Помнишь?

— Это когда Федьку убили? — хмуро ответил Афонька. — Как не помнить! Век по гроб жизни не забуду, — и он перекрестился.

— Это так. А вот в котором годе это было — и не помнишь.

— Ну, может, лет осемь назад.

— Вот. И не помнишь точно. А кого еще побили в том набеге, помнишь?

— Ну, как же! — и стал Афонька вспоминать по именам, загибая пальцы, но сбился вскоре и огорченно смолк. — Эва! Забыл...

— Вот и забыл. А мужиков-то пашенных и татар подгородных и иных кого — баб и девок — сколь побили и в ясырь увели, помнишь ли?

— Нет.

— А я вот все знаю.

— Ну, так то ты! Ты же грамоте обучен.

— Истинно так, Афоня. Вот и пишу я для памяти, чо и как случилось на остроге, пишу все доподлинно — и дурно чо было, и хорошее, и горе, и беды наши, и радость какая случилась. Все пишу. Вот помрем мы — я, ты, иные казаки, воевода, — кто будет знать, как острог Красноярский ставили, да как служба государева шла на остроге, как бились казаки с иноземными ратными людьми? Я вот в книгу свою напишу все, и всем ведомо станет, кто прочтет ее. А так если — то и забудется про все.

— Теперь ясно мне, Богдан Кириллыч. И много ты написал-то?

— Много, Афоня, много, а и все еще мало. Вся жизнь наша многотрудная здесь вот записана. Уж так и быть, я тебе покажу. Только, чур, Афонька, не обмолвись кому.

— А пошто?

— А так. Воевода дознается — еще запрет наложит. Скажет, ты и про меня пишешь? Ишь, мол, чо удумал. А ну-ка покажь. Да чо не по нраву ему, то и повелит вымарать, али и вовсе не дозволит. Скажет, и без тебя-де напишут. — Богдашка вздохнул. — Написать-то напишут, да не все. А еще воеводе помнится — вдруг я чо про него дурно напишу. Вот он и отымет книжку-то мою. А там, в книжке той, там, Афоня, все люди красноярские, и все их дела, и все их слезы, и все их победы, и вся их слава — все там. Помрем, а дети наши и кто новые на наши места заступят — ведать будут, как мы жили.

— Разумею я теперь, Богдан Кириллыч, — сказал Афонька. — Это верно — дело великое... И про меня там есть? — вдруг с испугом сообразил он.

— И про тебя. Вот сейчас покажу.

Богдашка встал от стола, прошел в угол к укладке, отомкнул ее и с бережением вынул толстую книгу, обтянутую кожей. Он сел за стол и показал Афоньке, чтобы и тот тоже рядом сел. Афонька подсел и склонился над книгой. Богдан же осторожно поднял крышку, откинул ее. На первом листе шли строчки, красиво исписанные большими цветными буквами — красными и зелеными и синими.

— Вот, — стал читать подьячий, водя пальцем по буквам: «Летописец красноярский. Како был острог ставлен на Красном Яру и про все дела, что случались в нем и в Качинской землице по все годы, подлинные сказки от подьячего Богдана Кириллова сына Соколова».

— Ну, ну, — запытал Афонька, — да-ле-то чо?

Богдан перевернул лист. Афонька увидел два столбца ровных и красивых букв.

— Сказка первая, — важно молвил Богдан. — Слушай: «В лето... по государеву цареву повелению в июле месяце пришел на Красный Яр в Качинскую землицу на Енисее воевода Андрей Ануфриев сын Дубенский и с ним три ста казаков оружных и со всем припасом для острожного ставления. И милостью божиею и его государевым счастьем спешным делом тот острог поставили в месяце августе на благолепное Преображение. А как острог ставили, то было нашествие от иноземных ратных людей, качинских и аринских татаровей. И тех иноземных ратных людей казаки побили и в угон за ними ходили и многи же опять побили. А из казаков божией милостью побитых не было, а только на острожном делании лесиной убило казака Митрия сына Носова». Так ли? — спросил Богдан, перестав читать.

— Так, Богдан Кириллыч, все так, — подивился Афонька. — И про Митьку не забыл!

— Вот видишь!.. Еще слушай. «В... годе набегали на острог киргизы в большой силе, пожгли деревни многие и хлеб на пашнях и сена в стогах. И побили еще многих пашенных и в полон побрали и подступалися к острогу. И сидели в осадном сидении казаки четыре дни и от тех киргизов отбилися и государеву честь не посрамили. А было тех киргизов, конных и пеших ратных мужиков, с тысячу и боле. А казаков было в осадном сидении сто и

двадцать человек — иные в Енисейский ушли хлебные запасы везть. На том набеге побили киргизы до смерти дванадцать душ казацких по имянно: Наумку, Ивашку, да еще другого Ивашку, Федьку, Третьяка, Матвейку, да еще одного Ивашку, Семейку, Тимошку, Ониску, Пахомку, Бориску. А пашенных мужиков и татар подгородных побили тридцать два человека, а кого — тем роспись составлена по имянно же...»

— Так, все так, — приговаривал Афонька, кивая.

— Слушай еще. «В лето... набегали незнаемые ратные люди на зимовье, что под Канским острожком, и злодейство учинили, побили до смерти десятника конные сотни Романа Яковлева и с ним двух казаков. А на место побитого десятника Романа Яковлева поверстан в десятники старослуживый казак Афонька сын Мосеев, а за то, что бодр разумом, искусен в ратном деле и службу завсегда несет исправно».

Усмехнулся Афонька — ишь ты, как про него!

Богдан перевернул лист и еще прочел:

«В лето... привели на острог сто девок молодых незамужних, чтобы казаки их в жены имали, потому как на остроге русских баб мало, а иноземные мужики жалуются, что-де у них казаки девок и баб имают, и которых в жены берут, а которых бесчестят, и от того разные усобицы идут и раздоры. И казаки молодых тех девок брали добром и по выбору».

Еще лист перевернул Богдан.

«В... годе ходил в послы, в киргизы, новоприбранный десятник конные сотни Афонька Мосеев, чтобы повернуть князца Ишенея в нашу сторону, потому как Ишеней отложился от великого государя и стал дурно чинить и ясак с себя перестал давать. И тот Афонька десятник ходил шесть недель и князца Ишенея обратно под высокую государеву руку привел и шерть с него взял, чтобы не воровал против государя и давал ясак на Красноярский острог... А в... годе сбежали в нети десять казаков добрых из Красноярска. И тех побержчиков не поймали. А как стали сыск весть, почему воровски сделали, сказывали иные, что сбежали те казаки от безденежья и бесхарчицы, оскудели совсем, и от служб тягостных стало им не мочно жить в Красноярском остроге. Били батогами

на том сыске двух казаков Алексашку Козлова и Порфишку Терского, потому как ведали про воровство, а не довели про то ни воеводе, ни атаману, ни иным начальным людям».

Богдан захлопнул книгу.

— Вот, Афоня, чо в сей книге есть. И все это любо мне писать сюда, потому как острог наш самый украиный и много казаки тягот несут на службе государевой здесь. А так на Руси и в других царствах завсегда ведется, чтобы в летописцы все деяния вписывать, от отцов и прадедов еще свершенные. Вот и я лепту вношу, сколь могу, в летописание Сибирское.

Богдан замолчал, потеревил рендюкую бородку.

— Занятно то все и дивно, — сказал Афонька.

— Еще более дивные в книжной премудрости есть дела, — ответил Богдан. — Есть книги, людьми разумными писанные, много мудрости в тех книгах. Доводилось мне их читывать. И у меня есть книг малая толика — покупал, не щадил скудости своей... Ладно уж, Афонька. Иному бы не обмолвился, а тебе покажу утеху свою и отраду.

Богдан встал от стола и направился к заветной укладке. Афонька следом за ним склонился вместе с Богданом над укладкой. Там, почитай, доверху было набито книгами. Было их, верно, с пятнадцать, с двадцать.

— Ух, сколько! И все твои?

— Ну а как же, вестимо, мои, — хвастливо ответил Богдан. — Которые с собой привез с Мезени да с Тобольска, а которые уже здесь купил. В Енисейском остроге у монахов.

Афонька взял осторожно одну книгу. Толста и тяжела была она, крышка деревянная, видать, поверх кожей обтянута. По коже узор тиснут: промеж трав, листьев, цветов — крест.

— Это чо же за книга?

— Эта? То Библия и Евангелие, книга духовная. Вот смотри — эта вот, — Богдан вынул еще одну книгу из укладки, — «Псалтырь» книга зовется. В ней псалмы, песни духовные. А эта вот «Триодь постная». А еще вот «Четьи-Минеи», на какой день какого святого память читать. Есть у меня и мирские книги. Вот, гляди, «Травник» зовется. Прописано в ней, какие есть травы целебные и как из них взвары и настои делать от хворей

разных. А еще есть у меня «Азбука», по ней грамоте учат чад малых. Вот хотел и свое чадо выучить, да бог сына не дал — девки только... Мало у меня, Афоня, еще книг. А книги какие есть, — Богдашка даже глаза прикрыл. — Ах, какие книги!..

Долго еще рассказывал Богдашка про разные книги и про что в них писано. Вышел Афонька от подъячего, когда уж ночь на землю пала. И пока шел, и дома, пока с чадами возился и щи хлебал, и в снах, как заснул, — все ему чудились диковины разные, что наслушался от великого книжника подъячего Богдана.

На Афонькино челобитье воевода отказ дал. Сказал, что-де в деревенци его пока не отпустит, а пашню пусть себе возьмет по соседству со своей, у казака пешей сотни Ерошки Чернова, потому как тот отпросился на службу в Томский острог, братья-де у него там в казаках служат. Афонька было обиделся, осерчал, но потом поостыл — ладно уж, коли пашня близко будет. А к подъячему Богдашке дороги не забыл и не раз после того, как стол ему излаживал, приходил к Богдашке. Уж очень ему книги и рассказы и писание Богдашкино понравились.

И как Афонька приходил, Богдашка всякий раз ему из своего «Летописца» что читывал или из книги какой мирской.

Много разных дел занес Богдашка в «Летописец», потому как Афонька ему помогал — где новое скажет, что Богдашке ведомо не было, где укажет усопшее, будучи самовидцем дела епо.

Богдашка даже повеселел с Афонькой. И Афоньке было где душу отвести. Главное-то, ему хотелось грамоте выучиться, и Богдашка обещался, стал ему буквы показывать. Буква первая есть «аз», вот ежели Афоньки имя писать, то первую надо «аз» ставить — наставлял Афоньку подъячий. Афонька, ровно дитя, радовался, постигая письменную премудрость, и когда довелось ему первое слово в «Азбуке» прочесть — шатался по острогу, точно вина напился.

Так всю весну и лето провел незаметно десятник Афонька — то на службе государевой, то на пашне с мужиком своим мунгальским, то в работах иных домашних, то у подъячего Богдана, с которым сдружился через книги те, учение

свое и писание «Летописца красноярского».

Но тут беда случилась. Беда-то с Богдашкой, ан ровно бы и с Афонькой тоже, потому как пал на сердце Афоньке «Летописец» тот, где про всю жизнь отрога Красноярского записано все было.

В тот год лето стояло знойное, засушливое. И воевода повелел пуще всего следить, чтобы где по небрежению пожар не занялся — по такому делу весь острог сойти на нет может. Караульные ходили по острогу, по посаду — упреждали, чтобы на ночь с огнем бережны были — упаси бог в сушь такую где на подклети, али в амбаре, али просто у стога сметанного по оплошности искру обронить! Ходили-ходили, упреждали-упреждали, да не доглядели.

Пришедши с работ пашенных уже в сумерки, в конце августа месяца то было, Афонька, притомившись и не поевши ничего, повалился в сараюшке спать. А в ночь услышал — набат бьет. Вскинулся, прынул на ноги, вылетел с подворья на улицу, саблю прихвативши, — вдруг киргизы али иная какая беда учинилась? А на улице бежит народ туда-сюда, гомон идет, крик. Да чо такое? — ухватил одного за рукав Афонька.

— Пожар на посаде — вот чо! — ответил тот и побежал дале.

Афонька тут только заметил, что над посадом свет багряный колыхнется. Бросил он саблю, ухватил спешным делом багор и — следом за всеми.

— Где горит-то, у кого? — спрашивал он на бегу.



— Подьячего избенка горит, — отвечали ему.

— Богдашкина! — обомлел Афонька и кинулся бежать к знакомой избенке. Книги же там, «Летописец» — враз все на пепел пойдет...

Когда он добежал до подьячевой избушки, та пылала, ровно свеча. Пламень вырывался изо всех щелей, крыша была в огне, стены тоже. Треск стоял страшный. Летели тучей искры; поднимись ветер со стороны, где солнце заходит, то уж давно бы нанесло огонь на посад. Но ветра не было. Вкруг избы суетились посадские мужики и казаки с баграми, но подступиться к избенке не смели от великого огня и жара.

Афонька с трудом пробился через

тесную гудящую, как тот огонь, толпу. Близ самой избенки он увидел в отсветах пламени Богдашку, который, ровно безумец, рвался из рук казаков.

— Книги мои, книги! — кричал он и плакал, и матерно ругался, и молил, чтобы его пустили книги из огня спастись.

— Куда ты, куда, — уговаривали его, еле сдерживая, казаки. Ровно бес в него вселился, дивились они, такой слабосильный, а еле удерживают его в несколько рук. Рядом с Богдашкой, плача и причитая, бегали его баба и девки его.

— Татенька, батенька, не кидайся в огонь — сгоришь!

— Деточки мои, женушка милая, книжки мои там гибнут — вся утёха моя и богатство! — кричал Богдашка.

— Богдан Кириллыч! — взревел Афонька. — Как же это, Богдан Кириллыч! А «Летописец»-то? — нарушая заповедь подъячеву не обмолвиться на людях про «Летописец», кричал Афонька, с ужасом глядя на бушующий огонь.

— Эх, господи, помоги! — крикнул он и, оттолкнув стоявших перед ним казаков, ринулся к избе сломя голову.

— Стой, оглашенный, стой! — кричали ему.

— Вернись, ирод, я тебе велю! — кричал ему сотник Климентий Злобин. — Имайте его, дуrolома!

Но ловить Афоньку было поздно. Был он уже около самой избенки, и уже изготовился в дверь ринуться, укутавши голову кафтаном, который сорвал с себя на бегу, как вдруг крыша избенки с великим треском и шумом рухнула. Кверху взметнулся высокий столб огня, полетели головни, снопы искр. Афонька отпрянул назад, и тут на него упала доска, огнем объятая. Афоньку сбило с ног.

Всю ночь и раннее утро пролежал ничком Богдашка, и рядом с ним Афонька сидел. Слезы капали у Афоньки из глаз, но не замечал он их и не утирал, и только когда начинал Богдашка о землю биться и причитать, обнимал его бережно за плечи и шептал ему чего-то. Обступавшие их вначале казаки и мужики посадские разошлись — воевода, пришедший на пожарище, повелел не тревожить их. Баба Богдашкина ушла тоже и увела ревущих девок. А они так и пробыли, пока в утро вновь не пришли казаки. От избенки остались одни головни да пепел, а

неподалеку нашли казаки зело пьяного мужика Прошку, который тайно вино курил и посадским да казакам из-под полы продавал.

Когда его схватили и привели на сыск в приказную избу, он упал воеводе в ноги и повинился, что с вечеру, сильно напившись, пошел до своего подворья, да в теми-то и спьяну заблудился, все не в свои избы попадал. И сказывал, что, дойдя до какой-то избенки, задумал осветить — может, его та избенка? И, вынувши кресало, стал искры высекать, и трут подпалил, сидя у самой двери, что в избенку вела. А что дальше было, хоть бейте, хоть режьте — не помнит.

Прошку забили за пожар в колодки и отправили в Енисейский острог к разрядному воеводе — пусть с ним что хочет делает.

А Богдашку ровно пришибло с той гари. Он осмотрел пепелище, нашел несколько железок от укладки, обгорелых и почерневших, и шматочек олова — чернильница, видать, сплавилась. Ухватил их, сунул за пазуху и, горько-горько заплакавши, пошел, шатаясь, невесть куда. Афонька, бывший с ним, подхватил его под руки и увел домой, отдав бабе его.

— Привет и успокой его, — наказал ей. — А то он ровно порченый, как бы ума не решился.

Ума подъячий не решился, но с того времени стих и схудал напрочь, сам на себя не похожий стал. По ночам, баба его сказывала, не спал вовсе, все ворочался, а коли и засыпал ненадолго, то и сонный что-то бормотал, а потом вскрикивал и просыпался.

Так промаялся какое-то время подъячий Богдашка, а к весне подал челобитье, чтоб отпустили его с Красноярского острога. И ему перевод дали в Томский острог.

Когда Богдашка съезжал с острога, они с Афонькой обнялись, расцеловались, и тут Богдан вынул из-за пазухи сверток, тряпичей обмотанный, и отдал Афоньке.

— На-ко тебе, Афоня, поминонок прощальный. Осталась у меня «Азбука» одна. Возьми себе, может, сподобишься и дале грамоте учиться.

Кони тронулись, и Афонька долго глядел вслед, пока не скрылись они за посадом.

ВРАНЬЕ И ДОБРЫЕ ДЕЛА ХЛЕСТАКОВА

Когда перед провинциальными кокетками — городничихой и ее дочкой — Хлестаков хвастает знакомством с писателями и своими литературными успехами, читатель воспринимает это как обычную хлестаковскую буфонаду: ведь на протяжении всей комедии этот вертопрах врет — как на салазках под гору катиться! Поэтому читатель, наверное, удивится нашему утверждению: про связи с писателями и работу в журналах Хлестаков не все врал, а только сильно преувеличивал. Конечно, «на дружеской ноге» с А. С. Пушкиным он никогда не был, однако великий русский поэт хорошо знал прототип Хлестакова в жизни. Бесспорно, «Юрия Милославского» написал М. Н. Загоскин, но и «Хлестаков» был автором множества опубликованных в России в начале прошлого века произведений — романов, повестей, стихов, а также исторических, археологических, географических и других очерков. Он же под настоящей своей фамилией (Свиньин) редактировал журнал «Отечественные записки».

В Уфе в республиканской библиотеке имени Н. К. Крупской хранится 550 томов «Отечественных записок». Собственно, это не один, а три различных журнала: 1) издававшийся с 1818 по 1830 год исторический и этнографический журнал П. П. Свиньина, справедливо считающийся «дедушкой русских исторических журналов»; 2) литературно-художественный и общественно-политический журнал либерального направления, редактировавшийся А. А. Краевским (с 1839 года), в котором много писал В. Г. Белинский; 3) орган революционных демократов, выходивший с 1868 года под редакцией Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и Г. З. Елисеева, позднее закрытый властями за «вредное направление». Все три журнала — выдающиеся явления русской журналистики, и комплекты их — большая ценность для книголюбов. Особенно редки из них «Отечественные записки», редактировавшиеся Свиньным.

Павел Петрович Свиньин — известный журналист первой половины XIX века, путешественник, историк, этнограф, художник, беллетрист и поэт, наконец, коллекционер — был... знаменитый враль. Хотя народная мудрость и утверждает «вранию короткий век», вранье Свиньина навсегда запечатлено в классической русской литературе. П. П. Свиньин родился в 1788 году, учился в так называемом «Благородном пансионе» при Московском университете, затем работал в Мини-

стерстве иностранных дел. В связи со службой и по своей инициативе Свиньин бывал в Америке и Европе и много путешествовал по России. Им написано о своих путешествиях, а также по русской истории, археологии, этнографии масса журнальных очерков, несколько книг. Неоднократно, хоть и без особого успеха, Свиньин пробовал свои силы в жанрах поэзии и исторических романов. При жизни (умер он в 1839 году) Свиньин был также известен как коллекционер, собравший множество картин, монет, медалей, предметов старины, рукописей и книг. Рукописи Свиньина поступили в Российскую Академию, а коллекции проданы с аукциона им самим.

Примечательный разносторонней эрудицией и энергией, П. П. Свиньин был, однако, для современников личностью мало симпатичной: они относили его к категории подхалимов и записных лжецов. Так, поэт П. А. Вяземский в своих стихах прямо указывает на пресмыкательство Свиньина перед Аракчеевым, а в письме к А. И. Тургеневу без обиняков сообщает: «Свиньин полоскается в грязи и пишет стихи». Современники не один раз указывали, что в описании своих путешествий Свиньин рассказывает о местах, в которых сам никогда не был. Известный в свое время баснописец А. Е. Измайлов написал на Свиньина басню «Лгун», кончающуюся словами: «Павлушка — медный лоб (приличное название)!

Имел ко лжи большое дарованье.
Мне кажется, еще он в колыбели лгал;
Когда же с барином в Париже побывал,
Вот тут-то лгать пустился!»

Сам А. С. Пушкин не прошел мимо склонности Свиньина к вранью и изобразил его в детской сказке «Маленький лжец»: «Павлушка был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порок — он не мог сказать трех слов, чтоб не солгать».

Основной сюжет «Ревизора», как и сюжет «Мертвых душ», подсказал Гоголю, как считает-ся, А. С. Пушкин. А прототипом Хлестакова сам автор гениальной комедии называл П. П. Свиньина. Существуют и документальные доказательства, что Пушкин подсказал Гоголю сюжет «Ревизора». Около 1913 года литературоведы нашли пушкинскую запись: «Свиньин (это имя А. С. Пушкиным потом зачеркнуто и заменено «Криспным») приезжает в губернию... Губернатор — честный дурак, губернаторша с ним проказит,



Криспин сватается за его дочь...» Так что читатели, желающие взглянуть на «Хлестакова в жизни», могут посмотреть на портрет П. П. Свинына.

Итак, Павел Петрович был патентованный лгун. Однако было бы ошибкой только на этом основании отнести его журнал «Отечественные записки» к плохим изданиям. При всем легкомыслии и левоверии Свинына тут его выручали глубокий и страстный интерес к старине и талант редактора-организатора: к участию в «Отечественных записках» Свинын сумел привлечь ряд видных историков и мемуаристов; Свиныну удалось опубликовать в «Отечественных записках» много ценных исторических документов (мемуары Дениса Давыдова, записки Сегюра о путешествии Екатерины II, журнал путешествия Петра I во Францию, часть переписки А. В. Суворова и т. д.).

Любопытно, что и в то время значение Урала и Приуралья было ясно редактору «Отечественных записок». Это видно из содержания журнала, в котором уральская тематика занимает заметное место.

Конечно, здесь на первом месте уральская промышленность. Так, в 1826 году «Отечественные записки» в двух книгах публикуют большой очерк, принадлежавший, вероятно, перу самого

Свинына (подпись «П. С.»), — «Златоустовский завод». Очерк содержит подробное изложение технологии и продукции завода, описание самого города и отдельные штрихи старозлатоустовской жизни (базар и даже упоминание о существовавшей тогда в Златоусте «вдовьей кассе», куда обращались за скудной помощью семьи умерших заводских работников). В этом же очерке дана краткая история возникновения Саткинского, Кузинского, Миасского и Артинского заводов.

Вопросы развития уральской промышленности цветных металлов также нашли в «Отечественных записках» свое отражение: в 1825 году журнал дает обширную «Картину золотопесчаных промыслов в Уральских горах», в следующем году печатает письмо неизвестного уральского корреспондента «О новом величайшем золотом самородке» и статистическую справку «О золоте и платине, полученных с заводов Уральского хребта», а в 1827 году — корреспонденцию из Екатеринбурга (подпись «В. К.») «О чудесном самородке платины, найденном на Нижне-Тагильском заводе».

Гораздо меньше, чем промышленности, журнал Свинына уделял внимания вопросам науки и культуры Урала, хотя и на эту тему в «Отечественных записках» помещались материалы. В первую очередь из них можно отметить корреспонденции из Перми (за подписью «Г. С.») об изобретателе Чистякове и враче-гуманисте Ф. Х. Грале.

Журнал Свинына имел сотрудников и в Оренбурге. Так, в «Отечественных записках» напечатан ряд произведений оренбургского декабриста П. М. Кудряшева: повесть «Искак», стихотворение «Песня башкирца после сражения», статья «Предрассудки и суеверия башкирцев» и другие. О том, как высоко ценил Свинын сотрудничество в его журнале оренбургского писателя, видно из написанного им некролога «Петр Михайлович Кудряшев — певец картинной Башкирии, быстрого Урала и беспредельных степей Киргиз-Кайсацких».

Отобразить положительные черты Свинына-Хлестакова автору «Ревизора» не было надобности. По собственному признанию Н. В. Гоголя, его задача была другой: «...собрать в круг все дурное в России... и за один раз посмеяться над всем». Нам же в рассказе о живом П. П. Свиныне можно отметить немалую роль прототипа Хлестакова в ознакомлении русских читателей с Уралом.

Н. БАРСОВ

АДАЛЬБЕРТ ШАМИССО НА «РЮРИКЕ»

1.

Читающая публика первой половины XIX века хорошо знала имя немецкого поэта и философа Адальберта Шамиссо. Читая его поэму в прозе «Необычайные приключения Петера Шлемиля», чувствительные поклонники таланта Шамиссо проливали искренние слезы над несчастьями бедного бурша (студента) Петера Шлемиля, продавшего из нужды свою тень черту¹. В далекой России после декабрьского восстания 1825 года в списках, то есть в рукописных копиях, ходила его поэма «Изгнанники». В первой части ее он дал вольный пересказ отрывка из поэмы Кондрагия Рылеева «Войнаровский», а во второй части в поэтической форме рассказал о встрече его приятеля в Сибири с декабристом Александром Бестужевым.

Великий Чарлз Дарвин высоко отзывался о теории образования коралловых островов и рифов, разработанной Адальбертом Шамиссо. Столь же высоко оценивались другими учеными классические исследования Шамиссо о чередовании поколений у сальп — морских животных. Этнографы и языковеды ценили его этнографические исследования и лингвистические наблюдения.

Ученый, поэт и философ, Шамиссо прославился также и как путешественник.

В 1815 году в России формировалась кругосветная экспедиция под командованием молодого, но уже хорошо зарекомендовавшего себя лейтенанта О. Е. Коцебу: сын популярного в те годы писателя, родственник знаменитого мореплавателя И. Крузенштерна, Отто Евстафьевич был удо-

¹ Поэма вышла в 1814 году, русский перевод появился впервые в 1842 году.

стоен высокой чести возглавить первую русскую научную экспедицию на бриге «Рюрик».

Как известно, в результате ее на географической карте Тихого океана появилось большое количество русских имен, в числе их: острова Румянцева, Кутузова, Суворова. На побережье Аляски был открыт большой залив, названный именем Коцебу, а в нем бухта Эшшольца, по имени врача «Рюрика».

Узнав об организации этой экспедиции, Шамиссо предложил свои услуги медика и натуралиста. Имя его как ученого и поэта уже было хорошо известно, поэтому предложение было принято, и Шамиссо присоединился к экспедиции, когда «Рюрик», идя на запад, пришел в Копенгаген.

2.

...Шел второй год плавания. Закончив программу исследований в Беринговом море, Коцебу направил судно на юг, в воды тропической части Тихого океана. После аудиенции у короля Гавайев Камеаеа I, разрешившего посетить острова архипелага, началось плавание в водах, омывающих эти острова.

Утро 27 ноября 1816 года было ясное и жаркое. «Рюрик» медленно продвигался вдоль берегов острова Вагу (Оаху). Коцебу и его спутники, свободные от вахты, столпились на носу, разглядывая открывшуюся бухту Гапа-Пура (ныне Гонолулу). На берегу ее раскинулась небольшая деревня, в которой, однако, уже было несколько домов европейского типа, а на возвышенности находилась крепость, с развевающимся на легком ветру флагом Камеаеа I.

АЗЪ БУКИ ВЪДИ

ЧЕМПИОН И ШАМПИНЬОН

Как появились в русском языке такие слова, как спорт, чемпион, спартакиада, фестиваль, конкурс и другие, обозначающие спортивные, театральные, музыкальные состязания? Что значили они раньше и как изменилось их значение теперь?

Некоторые из «спортивных» слов ведут нас в античные времена, в Грецию классической эпохи. Например, олимпиада, стадион. Олимпиада буквально значит олимпийская, от названия самого высокого в Греции горного массива Олимп, где, по верованиям древних греков, обитали боги. В их честь устраивались один раз в четыре года состязания в беге, кулачном бою, на колесницах, а также соревнования поэтов и артистов. Это был общегреческий праздник, пользовавшийся огромным уважением во

всей Элладе. На время олимпийских игр прекращались войны, устанавливался мир. Промежуток в четыре года между играми назывался олимпиадой. Это была единица летосчисления в древней Греции.

Традиция проведения олимпиад дожила до наших дней. Сейчас это слово обозначает международное спортивное соревнование, которое устраивается тоже раз в четыре года. Кроме того, им называют другие спортивные, театральные и прочие соревнования: олимпи-

«Рюрик» бросил якорь, и Коцебу и его спутники высадились на берег, чтобы нанести визит «губернатору» острова — Кареймоку, вышедшему встречать путников. Вид его был весьма живописен: Геркулес по сложению Кареймоку был в белом плаще из древесной коры, перекинутом, как у римлян, через плечо, а на голом теле красовались сумка и пара пистолетов. Коцебу он принял дружелюбно, однако в крепость не пустил, так как вход в нее европейцам был воспрещен.

Несмотря на то, что Коцебу и его спутники прибыли в Гана-Рура недолго, живой и общительный Шамиссо, удивительно легко овладевавший новыми для него языками, и на этот раз быстро усвоил элементы гавайского языка и снискал дружбу Кареймоку и его приближенных, причем настолько, что ему, первому из европейцев, было разрешено войти внутрь святилища гавайцев — мурай — и присутствовать на религиозной церемонии.

Старое, фундаментально построенное святилище незадолго до прибытия «Рюрика» было разрушено немецким врачом Генрихом Шеффером. Состоя на службе в Российско-Американской компании, он был направлен главным правителем ее Александром Андреевичем Барановым на Сандвичевы острова, чтобы завести плантации овощей, столь необходимых для Аляски. Авантюрист по натуре, Шеффер превысил данные ему Барановым полномочия и, уговорив одного из вассалов короля, вождя острова Кауай, Томари отделиться от своего сюзерена, сделал попытку овладеть Сандвичевыми островами. Незадолго до прибытия в Гана-Рура он самовольно водрузил здесь русский флаг и в знак своей власти первым делом разрушил мурай. Когда Шеффер удалился с острова, Кареймоку построил временный мурай, в котором и совершалась эта церемония. Шамис-

со первым из европейцев стал ее участником и первым, кто описал ее.

В следующем, 1817 году «Рюрик» снова бросил якорь в Гана-Рура. Радостно встреченные Кареймоку и другими друзьями, путники пробыли здесь около месяца, и за это время Шамиссо, уже овладевший основами гавайского языка, описал интересный обычай, называемый полинейзийцами «тэпи».

— Когда на острове происходит какое-нибудь важное событие, — рассказывал Шамиссо, — то старый язык отменяется и заменяется новым. Эта замена обязательна для всего населения острова. По поводу столь важного события, как рождение сына, Кемеаеа I придумал совершенно новый язык и начал вводить его в употребление. Вновь придуманные слова не имели общих корней с прежним языком. Некоторым влиятельным личностям из окружения короля нововведение не понравилось, и они решились отделаться от него: подсыпали яд ребенку. И, действительно, с его смертью старый язык был восстановлен, а новый забыт!..

Шамиссо заслужил признательность и уважение островитян не только на Гавайях, но и у жителей островов Маршаллова архипелага. Он приучил их, в частности, к садоводству.

Возвратившись из экспедиции в 1818 году, Шамиссо продолжил свои литературные и научные занятия в Берлине. Умер Шамиссо в 1838 году. В 1841 году его гербарии, собранные во время кругосветного путешествия, были приобретены Ботаническим садом Российской Академии наук. В честь Шамиссо ботаники назвали более 20 видов вновь описанных растений. А на побережье Аляски, в заливе Коцебу, его имя носит небольшой остров у входа в бухту Эшшольца.

К. ГУРВИЧ

ада художественной самодеятельности, шахматная олимпиада.

Стадион — сооружение для спортивных занятий и состязаний. Слово тоже древнегреческое, первоначально обозначавшее меру длины, равную примерно 180—200 метрам. На такое расстояние — **стадий** — бежали участники олимпийских игр. Нелегко, должно быть, давался стадий бегуну в полном вооружении греческого гоплита — в панцире, со щитом и копьем, да еще под палящим солнцем!

Значение слова **стадий** развивалось так: мера длины — беговая дорожка длиной в эту меру — сооружение для состязаний со спортивными площадками, местами для зрителей, вспомогательными помещениями. Заметим, что название меры длины — **стадий** — заимствовано греками у

вавилонян. Таким образом, если слово **олимпиада** ведет нас в древность 27 веков (первые олимпийские игры, по преданию, состоялись в 776 году до н. э.), то **стадий** — стадион — за 30 веков и дальше.

Спартакиада — массовое спортивное состязание по различным видам спорта. Название дано по имени вождя восстания рабов в древнем Риме Спартака, в честь которого в 1928 году были проведены в СССР первые спортивные соревнования.

Ну, а каково происхождение слова **лауреат**? Слово это латинское, означавшее сначала — **удостоенный лаврового венка**. **Лавр** (по-латыни **лаурис**) был священным деревом бога искусства, поэзии и солнечного света — Аполлона. Лавровыми венками награждали поэтов, художников, ораторов, а также победителей в состяза-

ниях атлетов. Сейчас **лауреат** — лицо, удостоенное особой премии за выдающиеся достижения в области науки, искусства, народного хозяйства. Любопытно, что сто с лишним лет назад его писали так: **лавреат**.

Конкурс — тоже латинского происхождения. Его первоначальное значение — **стечение, столкновение: кон** — вместе, **курсус** — бег. Теперь оно означает соревнование, выявляющее наиболее достойных занять должность, получить премию. Появилось в русском языке, видимо, в прошлом веке, лет 140 назад. Тогда оно имело ударение на **у: конкурс**.

Жюри — группа знатоков-специалистов, присуждающих премии или награды на конкурсах, выставках, соревнованиях. Раньше это слово значило суд **присяжных**. Попало в наш язык из английского

джюри, а первоисточником его было латинское **йус** (родительный падеж **йурис**) — суд, правосудие. Кстати, отсюда слова **юрист**, **юридический**.

Фестиваль — слово французское, означающее **празднество**. Оно восходит к латинскому **фестивус** — веселый, праздничный, в свою очередь, произведенному от **фестус** — праздник. Так, Овидий в своей стихотворной биографии сообщает, что родился в особый праздничный день: «Хэк эст армифэрэ фэстис дэ квинквэ Минэрвэ, квэ физри пуга прима круэнта солет». («Это один из пяти праздничных, посвященных оруженосной Минерве дней, который обычно кровав из-за первой битвы»). Как это понять? В период весеннего равноденствия проводились в Риме праздники в честь богини Минервы — девы-воительницы, покровительницы сражений, а также наук и искусств. Они длились пять дней, с 19 по 23 марта. На второй день празднеств начинались гладиаторские бои, жестокая забава для римской толпы. Следовательно, день рождения Овидия приходится на 20 марта.

В наше время слово **фестиваль** не имеет ничего общего с древними кровавыми праздниками. Наоборот, это очень мирные общественные празднества, на которых показываются достижения музыкального, театрального и других видов искусства.

Интересна история слова **чемпион**. Слово английское: **чемпион** — победитель соревнований на первенство по какому-нибудь виду спорта. Оно восходит к французскому **шампион**, в свою очередь идущему от **шамп** — поле, — **победитель на поле состязаний**. (Кстати, для курьеза отметим, что к этому же слову восходит название гриба — **шампиньон**, буквально — **полевой гриб**). Французское **шамп** ведет начало от латинского **кампус** — поле.

Есть среди спортивных терминов слова не латинского и не греческого происхождения. Таково **спорт**, английское слово, уходящее корнями в историю германских языков (вспомним, что английский язык относится к германской группе). Родственное ему слово обнаруживаем в древнем, теперь уже мертвом, готском

языке: **спурдс** — конные состязания, скачки, бега. Английского же происхождения слова **футбол**, **волейбол**, **теннис**, **ринг**, **бокс**, **тайм**, **гол**, **матч**, **нокаут**, **аутсайдер** и другие.

Что такое **футбол** — известно каждому болельщику, а вот почему игра так называется, знают не все. Слово английское, составное: **фут** — означает **нога** (кстати, название английской меры длины **фут** — средняя длина ступни человека, тридцать с половиной сантиметров), **бол** — мяч.

Итак, **футбол** — **ножной мяч**. Известно, что во время игры прикасаться к мячу руками нельзя (это делает только вратарь). На интересных футбольных матчах... Постойте, а что такое **матч**? Всякий скажет — состязание: футбольное, хоккейное... Но спросите англичанина, и он вам скажет, что в его языке это слово (произносится «мэтч») многозначно; более того, имеются омонимы, то есть совершенно разные по значению слова в одинаковой звуковой оболочке.

С одной стороны, **мэтч** — это **спичка**, **запал**, **фитиль**. С другой стороны, это же слово значит: **человек или вещь, подходящие под пару**; **ровня**, **пара**; **супруг**, **супруга**; **брак**, **свадьба**; **соперник**; **состязание**; **пари**. Заметим, что первая линия, значений (спичка, запал, фитиль) к тому значению, в котором это слово закрепилось в русском языке, не имеет отношения. Зато вторая показывает, как оно развивалось. От значения **ровня**, **пара** ответвились и пошли в разные стороны другие: 1) **супруг**, **брак** (свадьба); 2) **соперник**, **соперничество**, **состязание**. У нас бытует лишь последнее значение.

Так вот, на интересных футбольных матчах болельщик ведет себя экспансивно, бурно реагируя на острые моменты игры. Вот его любимый «центр нападения» гонит мяч, чтоб вогнать его в ворота противника. Удар! Но... маленькая ошибка, и мяч уходит в положение «вне игры». «Аут!» — горестно говорит болельщик. И вдруг обстановка изменилась, мяч безудержно катится к воротам, удар... «Гол!» — торжествующе голосит болельщик, и трясется под ним бетонная скамья, как поется в

известной песне. **Гол** и **аут** — тоже английские слова: первое из них означает **цель** (в самом деле, что является целью футбольной игры, если не гол?). Второе значит **вне**, **вон**: мяч вылетает за пределы установленной черты. Футбольный матч, как известно, состоит из двух **таймов** (по-английски **тайм** значит просто **время**).

Другая игра в мяч, **волейбол**, тоже носит английское название. Буквально — **летающий мяч**. А бег по пересеченной местности, особенно массовый (например, лыжный), называется **кросс**, от глагола **кросс** — **пересекать**, **переходить**, **переправляться**.

Названия, характеризующие особенности бокса, также английского происхождения. Само слово **бокс** значит **удар**. Действительно, удару принадлежит важнейшая роль в кулачном бою, проводимом по особым правилам. Состязания по боксу идут на **ринге**, огороженной канатами площадке. Собственно, **ринг** — это кольцо, круг, затем — **площадка**, **арена**. Кстати, слово **ринг** этимологически родственно слову **рынок**, тоже первоначально — круг, площадка, только для торговли, а не для кулачного боя. Вот боксеры, напрягая бугры мускулов, схватываются в поединке. Один **раунд** (тоже — **круг**, затем **цикл**, **ряд**, **очередь**), другой, третий... Противники осыпают друг друга градом ударов... Безрезультатно... И вдруг один из них мощным ударом в челюсть посылает другого в **нокаут**, то есть сбивает с ног, опрокидывает. Но **нокаут** еще не **нокаут**. Проходит секунды три-четыре, боксер поднимается. Но тут противник наносит ему еще более сильный удар, от которого тот не может подняться и за 10 секунд. «Аут!» — кричит судья и поднимает у победителя руку в перчатке.

Нокдаун значит **удар вниз**, **сокрушительный удар**; **нокаут** — **удар**, **выводящий из строя**. Таковы некоторые спортивные термины, прошедшие в наш язык из английского.

Может быть, читателей интересует происхождение и других спортивных слов? Напишите в редакцию.

афера У-2



Это случилось более десяти лет назад.

1 мая 1960 года над Уралом, в районе Свердловска, нашими ракетчиками был сбит американский шпионский самолет «У-2», пилотируемый Фрэнсисом Гарри Пауэрсом.

Самолет «Локхид У-2» был в ту пору новинкой. Одномоторный, одноместный, со скоростью 950 километров в час, он мог летать на высоте 25 000 метров, что считалось недостижимым ни для самолетов-охотников, ни для наземной артиллерии.

Узкокрылый, выкрашенный специальной черной краской, поглощающей импульсы радаров, оборудованный новейшей шпионской аппаратурой, он казался неуязвимым. На полеты «У-2» американцы возлагали большие надежды.

В середине мая 1960 года в Париже должна была состояться конференция четырех держав на высшем уровне.

Установление отношений мирного сосуществования требует атмосферы взаимного доверия. Бесцеремонное проникновение разведывательных самолетов в глубь нашей территории буквально накануне конференции со всей непреложностью свидетельствовало о вероломстве и недоброжелательности правительства США.

Когда в нашей печати появились первые сведения о том, что самолет, нарушивший 1 мая границы СССР, сбит противовоздушной артиллерией, американское правительство, не подозревая, что летчик остался жив и что сохранились неопровержимые улики, с беспрецедентной наглостью заявило, что сбитый самолет не имел никакого отношения к военной разведке: мол, во время несения метеорологической службы летчик случайно сбился с курса.

Правительство США в своем заявлении всячески подчеркивало, что никогда не имело и не имеет намерения нарушать границы СССР.

Однако 7 мая советская печать сообщила новость, потрясшую мир: пилот жив и находится

в Советском Союзе. Имеются также вещественные доказательства, неоспоримо свидетельствующие о шпионской цели полета.

Недавно летчик Пауэрс, в свое время осужденный в Советском Союзе за шпионаж, издал в США свои воспоминания.

Мы предлагаем вниманию наших читателей отрывки из его книги.

Офицер разведки показал нам новую деталь нашего снаряжения. Она была похожа на талисман: обычная серебряная однодолларовая монета с припаянным ушком. В это ушко пропускалась цепочка, и монету можно было носить на шее либо вместе с ключами как брелок.

Офицер отвернул ушко. Внутри монеты находилась обычная, на первый взгляд, булавка. Когда мы ее разглядели как следует, оказалось, что это как бы крошечные ножны, футлярчик, внутри которого находится еще более тонкая булавка. Офицер вынул ее, на самом конце видны были углубления, заполненные коричневым липким веществом. Это был смертельный яд — кураре.

Большинство наших пилотов, в том числе и я, отказывались брать с собой яд. Однако эта фальшивая монета заинтересовала нас. Мы осторожно передавали ее из рук в руки. Вряд ли кто-нибудь догадается, что внутри серебряной долларовой монеты что-то скрыто!

Последнее время нас лихорадило. Несколько месяцев не было полетов, и вдруг назначили сразу два. Случилось это в апреле 1960 г. В первом полете я был дублером, на случай, если пилот заболит, а второй полет был моим.

Несмотря на то что операция «Перелет» проводилась уже почти четыре года, нас никак не подготавливали к тому, что может быть неудача, «несчастный случай». Поэтому я однажды спросил офицера разведки:

— Что будет, если кто-нибудь из нас потерпит аварию над Россией? Россия огромная страна, идти лешком до границы чертовски долго. Разве вы не можете дать нам какие-нибудь адреса явок, фамилии?

— Нет, этого мы сделать не можем, — ответил он.

— А если пилот будет схвачен русскими? Какую сказочку он должен тогда рассказывать им? И что вообще можно говорить, а что нет?

— Вы можете спокойно говорить все. Русские все равно вытянут из вас, что им нужно, — ответил офицер.

Полет 9 апреля прошел сравнительно гладко. Впрочем, он был не так уж сложен по сравнению с моим. Теперь предстояло лететь мне. Я чувствовал себя неспокойно. Мой полет должен быть первой попыткой пересечь всю территорию Советского Союза. Вылететь мне предстояло из Пешавара в Пакистане и через девять часов, преодолев 6 000 километров, достичь города Бодо в Норвегии. Трасса пролегла над Душанбе, Аральским морем, Свердловском, Архангельском и Мурманском.

Ранним утром в среду, 27 апреля, я упаковал свой чемодан. Сначала на базу в Пешавар улетели транспортным турбовинтовым самолетом 20 человек из нашего подразделения. Среди них были: руководитель операции, навигатор, представитель разведки, врач, механики, фотографы, специалисты электроники, радиотелеграфисты. Такого количества обслуживающего персонала требовал каждый полет.

Мне был обещан самый надежный самолет из тех, которые находились в нашем распоряжении.

Старт в Пешаваре дважды откладывался, и я все больше нервничал, особенно когда узнал, что полечу не на том самолете, на котором рассчитывал лететь.

В субботу к старту был подготовлен «У-2» номер 360. Мы называли его «упрямым животным». Стоило устранить в нем одну какую-нибудь неполадку, как тотчас обнаруживалась другая. Особенно часто на этом самолете барахлил бак с горючим, который почему-то никак не хотел отдавать до конца всего своего содержимого.

После полудня в субботу, 30 апреля, я лег спать. В два часа ночи меня должны были разбудить.

Прежде чем лечь, мы плотно пообедали со своим дублером — съели по два или три яйца, ветчину, бутерброды. Это был мой последний обед в Пакистане. Следующий прием пищи должен был состояться через 13 часов, в Норвегии.

Врач обследовал меня еще раз и подтвердил, что я в хорошей форме.

Шеф нашего подразделения полковник Шелтон проинструктировал меня, что если перед концом полета не хватит горючего, я могу полететь над Финляндией и Швецией. Это поможет мне сэкономить несколько минут. Делать посадку в Швеции было бы нежелательно. В Финляндии — допустимо только в самом крайнем случае. «Но и то и другое все-таки лучше, чем приземление в Советском Союзе», — добавил он.

Когда я уже готовился к полету, Шелтон спросил меня, не хочу ли я взять с собой серебряный доллар?

До этого я никогда не брал с собой яд. Но

ведь и подобного полета никогда не было. Кроме того, я не доверял машине. Однажды я спросил представителя разведки, можно ли пользоваться булавкой с ядом как оружием? Он ответил — да. Вспомнив все это, я спрятал доллар с ядовитой иглой в карман своего летного комбинезона.

В 5.20 я влез в кабину с помощью моего приятеля Боба, который перегонял машину в Пешавар. Несмотря на раннее утро, было страшно жарко — солнце уже час как взошло. Боб снял рубашку и прикрыл ею стекло кабины.

Я, как положено перед стартом, проверил все узлы управления и стал ждать. Прошло сорок минут, наступило время старта, а сигнала все не было. Комбинезон насквозь промок от пота, пот стекал из-под шлема, а вытереть его я не мог. Наконец подошел полковник Шелтон. Он объяснил причину задержки: ждали разрешения из Белого дома. Ведь полет такого рода предстояло совершить впервые, и он имел слишком серьезное значение.

Задержка очень осложнила дело. Навигационные расчеты были сделаны на 6 часов, таким образом, секстант теперь был бесполезен. Я надеялся, что полет отменят. Я мечтал об этом — так хотелось скинуть с себя мокрый комбинезон. И вдруг в 6.20 был дан сигнал. Я тотчас стартовал.

На определенной высоте температура за бортом упала до минус 50°.

Через некоторое время я включил автопилот.

Мое напряжение возросло, когда, пролетев над Афганистаном, я стал приближаться к советской границе. Атмосферные условия надо мной оказались хуже, чем предполагалось: всюду, насколько хватало глаз, простирались плотные облака. Для разведывательных целей это было несущественно, т. к. интересных объектов в этом районе не значилось. Зато очень затрудняло навигацию.

Юго-восточнее Аральского моря я вдруг заметил внизу под собой конденсационную полосу турбовинтового самолета. Он летел со сверхзвуковой скоростью параллельно моему курсу, но в противоположном направлении. Через 5—10 минут я вновь увидел белую дымную полосу, шедшую параллельно моему курсу, но теперь уже — в одном направлении со мною. По-видимому, это был тот самый самолет, который несколько минут назад прошел подо мной встречным курсом.

Летел он настолько ниже меня, что не представлял никакой опасности. «Если русские не полагают ничем лучшим, можно быть спокойным», — подумал я тогда.

Но то, что я попал под наблюдение и что радар обнаружил меня, было совершенно очевидно.

В 50 километрах на восток от Аральского моря раскинулся космодром Байконур. Однако он был закрыт тучами, и я не смог разглядеть стартовую площадку. Но все вокруг просматривалось, поэтому я включил съемочную аппаратуру.

В 80 километрах южнее Челябинска небо оказалось чистым. Слева был виден Урал. Вершины его еще покрывал снег, а склоны уже зеленели. В этот самый момент машина вдруг стала дыбом. Автопилот перестал действовать. Пришлось включить ручное управление. Через некоторое время я снова переключился на автопилотирование. И минут десять самолет шел нормаль-

но, после чего нос машины снова резко ушел вверх.

Я повторил маневр с переключением. Стало ясно, что неполадки будут продолжаться, и небольшую часть пути мне придется проделать, пользуясь ручным управлением. Может быть, вернуться?

Но я уже углубился в просторы России на 2100 километров, плохие метеорологические условия остались позади, поэтому я решил продолжать полет.

Передо мной лежал Свердловск — важный промышленный центр, представляющий для нас исключительный интерес. Впервые разведывательный самолет оказался над этими местами. Я немедленно включил соответствующие приспособления для записи информации. В 50—60 километрах юго-восточнее Свердловска я повернул машину влево. Начался новый этап полета.

Самолет был в воздухе уже четыре часа. Неожиданно я заметил под собой аэродром, которого на моей карте не было. Я стал наносить его, и именно в этот момент раздался странный глухой звук — «вумм», самолет прыгнул вперед, а гигантская оранжевая молния осветила кабину и небо. «Боже мой, — подумал я, — на этот раз я попался!».

Взрыв произошел за самолетом. Машина накренилась вправо, на какой-то момент мне удалось ее выровнять, но тут же она начала неудержимо падать носом вниз.

Новое страшное сотрясение бросило меня вперед. Я понял, что это оторвались оба крыла. Остатки самолета вошли в вираж. Теперь машина падала носом вверх, и я видел только голубое небо...

Мне удалось дотянуться до переключателя, с помощью которого можно было взорвать машину, чтобы ликвидировать все улики, но я вовремя опомнился. Сначала следовало сделать попытку катапультироваться. Однако и в нормальных условиях места для этого едва хватает, а в моем тогдашнем положении, когда я был вжат в передний угол кабины, при катапультировании мне неизбежно оторвало бы обе ноги.

Оставалась одна возможность: как-нибудь выползти и перевалиться через борт. Пояс мой был еще пристегнут. Я сделал усилие, откинул купол над кабиной, отбросил его. Он полетел вниз. Самолет продолжал виражировать. Я взглянул на высотомер, на нем было уже менее 10 000 метров.

Стекло моего шлема покрылось слоем льда. Я ничего больше не видел. Ощупью отстегнул пояс, но меня держало что-то еще. Я вспомнил о кислородных проводах. Но прежде чем перервать их, я решил повернуть переключатель, чтобы взорвать самолет. Сделать это мне не удалось¹.

¹ Как потом оказалось, благодаря этому Пауэрс остался жив. Исследование останков самолета показало, что взрыв произошел бы в ту же секунду, а не через несколько минут, необходимых для того, чтобы пилот покинул кабину. Таким образом, предполагалось, что будет уничтожен самолет, как улика, и опасный свидетель — пилот. Летчики этого не знали. А именно это объясняло, почему их не подготавливали на случай пленения (прим. перев.).

Я ничего не видел и не знал, сколько еще осталось до земли. Но самым энергичным образом старался выброситься из кабины. Наконец кислородные шланги, по-видимому, перервались, и я почувствовал, что свободен. Мое тело теперь падало не вместе с самолетом, а отдельно от него. Нужно было открыть парашют. И вдруг я почувствовал сильный рывок: сработала автоматика, парашют раскрылся без моего участия. Значит, я находился на высоте 4500 метров — автомат включался именно на этой высоте. Кислородный прибор здесь мне уже не был нужен, и я сбросил маску. Прежде всего меня поразила тишина. Впечатление было такое, словно я не опускался, а неподвижно висел в воздухе. Мимо меня, отчаянно вращаясь и дребезжа, пролетел кусок обшивки самолета. Я находился еще на порядочном расстоянии от земли. Внизу вокруг были видны возвышенности, лес, озера, дороги, дома, как будто бы деревня.

Я вспомнил о карте, на которой были проложены трассы в Пакистан и Турцию. Она лежала в кармане комбинезона. Я вытащил ее, разорвал на мелкие кусочки и выбросил. Одна улика была уничтожена. Затем я достал серебряный доллар. Теперь, когда мне грозило пленение, фокус с монетой и булавкой внутри нее не казался таким уж удачным. Я отвернул ушко, вытащил булавку с ядом и спрятал ее в карман. А монету выбросил.

До земли оставалось еще несколько сот метров. Я увидел маленький автомобиль, который ехал по проселочной дороге в моем направлении. Недалеко от деревни из него вышли двое мужчин. Подо мной лежало распаханное поле, на нем стоял трактор и около него еще две человеческие фигуры.

Я приземлился прямо около трактора, ударившись головой о землю.

Один из колхозников бросился «гасить» парашют, а другой помог мне встать на ноги. Подошли и те, которые приехали на машине. Они помогли мне выпутаться из строп и снять шлем. Я почувствовал боль в голове и шум в ушах.

Деревня была метрах в ста от нас. Оттуда бежали дети, их было десятка два или три. За ними — взрослые.

Люди окружили меня, участливо спрашивали о чем-то. Я не понимал их и не мог им ответить. В тоне их голосов слышались заинтересованность и заботливость, которые вскоре сменились тревогой и подозрением.

Мне предложили сесть в машину. Один из мужчин, заметив у меня револьвер, взял его. Машина тронулась, мужчина стал внимательно рассматривать оружие и заметил на нем буквы — «USA».

Он начертил их пальцем на запыленном приборном щитке и задал мне по-русски вопрос, который мог означать только одно: «Вы — американец?».

Я утвердительно кивнул головой. Отрицать это было бессмысленным. В багажнике автомобиля лежало мое аварийное снаряжение, там был и плакат с американским флагом и надписью на 14 языках: «Я американец».

Разговор вокруг меня стал еще оживленнее. Русские, кажется, поздравляли друг друга с таким редкостным «уловом».

Хуже всего было то, что я абсолютно никак не был подготовлен к подобному случаю. Я был

уверен в том, что когда в Америке узнают о моей «гибели», в прессе появится лживое коммюнике. Почему же никто не счел нужным проинформировать нас о возможном его содержании?

Раздумывая над этим, я решил выдавать себя за пилота метеорологической службы, проводившего работу на трассе Пакистан — Турция и из-за дефекта компаса сбившегося с пути. Я понимал, что мне не поверят. Пролететь 2100 километров в глубь территории и не заметить своей ошибки — невозможно. Но в данной ситуации это было единственно приемлемая для меня тактика.

Через полчаса езды мы оказались в другой деревне. Она была больше первой, с мощными улицами. Оказалось, что в этой деревне помещается контора.

Один из моих конвоиров вошел в дом. Через некоторое время он вернулся вместе с военным, который обыскал меня, но только поверхностно. Булавку с ядом он, естественно, не заметил.

Потом меня ввели в канцелярию и объяснили жестами, что я должен раздеться. На этот раз обыск был более тщательным, но булавку они все же не обнаружили. Верхний комбинезон, предохраняющий во время полета от атмосферного давления, сложили отдельно. Летный комбинезон я надел снова.

Пришла женщина-врач, послушала мой пульс и сердце, смазала антисептическим средством содранную на ноге кожу. Я постарался объяснить ей, что у меня сильно болит голова, и она дала мне две таблетки, по виду и по вкусу похожие на аспирин.

Подошла группа людей, принесших обломки самолета и оборудования. На некоторых аппаратах были надписи по-английски. В следующее мгновение я замер: мужчина принес отснятую мной над объектами 70-миллиметровую пленку. Это уничтожало последнюю каплю достоверности в моей легенде о том, что я заблудился.

Через два часа за мной прибыла военная машина. Мы поехали в Свердловск. Флаги и толпы

людей на улицах означали, что сегодня какое-то торжество. И вдруг я вспомнил: сегодня 1 Мая, коммунистический праздник во всем мире.

Трехэтажный дом, перед которым мы остановились, был с виду самым обыкновенным. Меня окружили люди в мундирах и в штатском. Те, которые стали меня обыскивать, несомненно были специалистами. Они сразу нашли булавку. Тот, кто ее нашел, только мельком взглянул на нее и сразу же убрал в портфель. Я решил не спускать глаз с этого портфеля.

У меня все еще шумело в ушах. Я воткнул палец в ухо и потряс головой, но стоящий рядом мужчина схватил меня за руку. Вероятно, он по-



думал, что в ухе спрятана капсула с ядом и я собираюсь ее вынуть.

— Вы американец? — спросил он меня по-английски.

Я подтвердил и начал рассказывать, стараясь быть максимально убедительным, свою придуманную историю о том, что заблудился. Однако было видно, что никто здесь не верит ни единому моему слову. Да и вещественные доказательства свидетельствовали против меня.

Когда принесли обломки самолета, я увидел мои карты. В распоряжении русских было также аварийное снаряжение, в состав которого входили и советские деньги, золотые монеты, часы, кольца — все это для того, чтобы пилот, в случае необходимости, мог продать, обменять или дать взятку.

В моем портфеле было найдено удостоверение министерства обороны США, согласно которому я был гражданским, а не военным летчиком.

Во время допроса я упрямо продолжал держаться своей неправдоподобной легенды.

Русские хотели точно установить, кем я являюсь, военным или гражданским пилотом. Их настойчивость навела меня на мысль: не подозревают ли они, что я заброшен сюда не со шпионскими целями, а с агрессивными, являясь предвестником нападения Америки?

Это страшно испугало меня, и я подумал, что правда менее опасна, чем это подозрение. Я решил отказаться от выдуманной мною истории и рассказать русским всю правду.

Я начал с того, что я являюсь гражданским пилотом СТА¹. Было видно, что русские знают эту организацию, но продолжают сомневаться в том, что я говорю.

Пока шел допрос, один из присутствовавших людей не отходил от телефона. Видимо, сообщение о ходе допроса передавали куда-то дальше. Наконец я рассказал все, что мне было известно.

Кто-то принес накидку от дождя, и переводчик предложил мне надеть ее. Погода была хорошая, дождя не было, и я понял, что накидка нужна для того, чтобы скрыть мой, бросающийся в глаза, летный комбинезон.

В большом лимузине мы приехали на аэродром, прямо на взлетную полосу, где нас ждал пассажирский турбовинтовой самолет. Как только мы сели, сразу запустили моторы.

¹ СТА — Централь Интеллидженс Агентси — Центральное Разведывательное Управление — крупнейшая разведывательная организация США; занимается военным и экономическим шпионажем. Шефом СТА является в настоящее время Ричард Хэлмс. Штаб организации находится в Ланглей под Вашингтоном.

Я спросил переводчика, куда мы летим. Он ответил: в Москву.

Мы были одни в переднем салоне самолета, отгороженном только занавесом от остальной его части.

Когда проходила стюардесса, я видел, что в следующем салоне летят самые обыкновенные пассажиры, которые, по-видимому, даже и не подозревают о моем присутствии. Это был обыкновенный пассажирский самолет.

Мне предложили фрукты и сладости, но я не мог ничего есть. Я чувствовал себя предельно усталым, но когда попробовал закрыть глаза и задремать, это мне тоже не удалось.

Я думал о жене, о семье, о наземном персонале в Норвегии и Турции, и о том, что там, конечно, начнется страшная паника, как только они узнают о моем исчезновении. Что же касается меня самого, то я твердо был уверен, что рано или поздно русские меня уничтожат.

В Москве нас уже ждала машина. Мы поехали в Комитет госбезопасности. Там меня снова обыскали, после чего выдали гражданскую одежду.

Потом меня провели в другое помещение, где находилась группа людей, видимо, самое высокое начальство. Снова начался допрос.

Я все время старался подчеркнуть, что я только летчик, а не шпион. Меня спросили, на какой высоте я летел. Я ответил: около 21 000 метров.

Я дважды солгал. Что касается второго ответа, то я опасался следующего: если русские ничего не сообщат обо мне, в США могут решить, что я разбился где-нибудь в недоступных горных районах, значит, концы в воду и можно продолжать полеты. В таком случае советские ракетчики, считая, что цель находится на высоте 21 000 метров, промахивались бы. Но те, кто допрашивал меня, были специалистами. Это сразу чувствовалось, и вряд ли они поверили мне, хоть и молчали.

Неожиданно я увидел, что человек, в портфеле которого была отравленная булавка, вышел из комнаты.

Я сказал переводчику, чтобы этого человека предупредили — пусть будет осторожным с булавкой. Мне не хотелось чьей-нибудь смертью ухудшать и без того скверное свое положение.

Среди множества вопросов, заданных мне, был один, который потряс меня, заставил очень серьезно задуматься:

— Почему полет был разрешен буквально накануне встречи руководителей четырех государств? Было ли это сознательным намерением саботировать мирную конференцию?

Теперь я и сам хотел бы знать ответ на этот вопрос, но вряд ли я когда-нибудь его получу.

Перевод Н. КОСТРЖЕВСКОЙ





МОЙ ДРУГ- ОАН- ТАС- ТИКА

Борис БОРИН

Рисунки Н. Мооса

Рассказ

«...В бою у мельницы на высоте 319,25 особо отличилась третья рота. В течение дня она отражала атакующие, много превосходящие ее по численности силы противника. Поддерживаемая огнем полковой батареи 45-миллиметровых пушек, рота удержала высоту. Противник не смог прорвать левый фланг полка.

Командир роты, младший лейтенант, — фамилия мне неизвестна, документы о его назначении должны быть в штабе полка, — будучи раненым, до подхода подкреплений лично, огнем автомата сдерживал наступающего противника.

Ходатайствую о посмертном награждении младшего лейтенанта орденом Отечественной войны II степени.

Командир 1-го батальона
капитан ВАСИЛЬЕВ.

7 февраля 1945 года».

Это донесение, написанное на желтом, выцветшем от времени листке бумаги, было последним архивным документом, прочитанным мною — в который уже раз — там, в двадцать третьем веке. Я ждал вызова от профессора, научного руководителя моей работы. И в ожидании неторопливо перебирал скопившиеся на моем столе документы — выписки, копии, немногие подлинники.

Я — историк. Узкого профиля. Моя профессия — вторая мировая война. Человечество помнит, ценой какой крови люди легендарных сороковых годов спасли Землю от фашизма. И поэтому наш век должен знать, как это было, знать во всех подробностях.

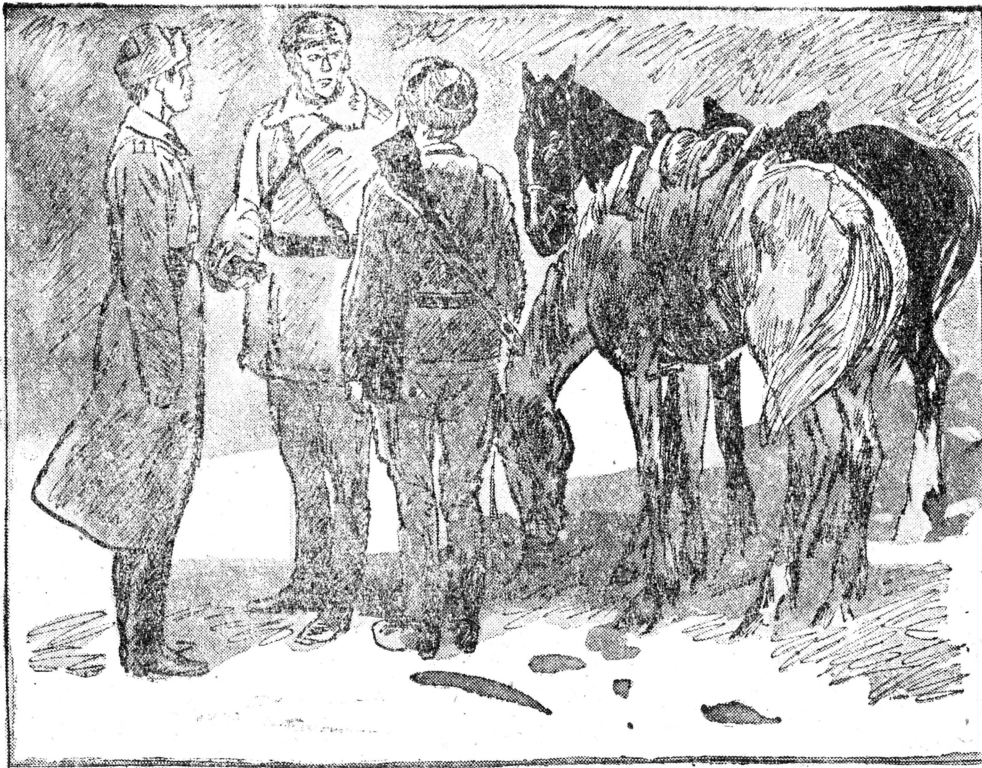
Я люблю то далекое время. Помню наизусть и боевой устав пехоты, и песни тех лет.

Бой шестого февраля 1945 года на высоте 319,25 продолжался всего один день и не был, вероятно, выдающимся событием в истории войны. Рядовой день, рядовой бой... Выбрал же я его потому, что года два назад в одном из архивов — он был обнаружен совсем недавно, и я помогал приводить его в порядок — совершенно случайно наткнулся на донесение капитана Васильева. Оно заинтересовало меня, мне захотелось узнать больше. Узнать, как звали младшего лейтенанта, погибшего шестого февраля 1945 года. Узнать, кто он, этот герой высоты 319,25, каков он, молод или в зрелом возрасте, кем был до войны, где и как воевал до последнего своего боя...

Я перевернул — листок к листку — весь архив, нашел немало других документов, имевших отношение к бою на высоте 319,25 и к третьей роте, отличившейся в этом бою. Но имени младшего лейтенанта я так и не узнал. Не помогли мне ни поиски в других архивах, ни консультации у ведущих специалистов по истории второй мировой.

Тупик... Он наглухо замкнулся передо мной. До того самого дня, когда профессор, руководивший моими поисками, произнес, загадочно улыбаясь:

— Радуйтесь, Бобров! Как говорили в те далекие дни, вам — везет... — И, помолчав, объяснил: — Институту дают командировку в двадцатый век. Одну-единственную.



Это было три месяца назад. А теперь я ждал сообщения — утвердил ли Ученый совет мою командировку.

Я много слышал о первых путешествиях во времени, знал, что вот уже год, как из стадии проб они перешли в стадию первых изыскательских рейсов. Знал и то, что добиться командировки в прошлое — очень трудно. Кроме колоссального расхода энергии, которая нужна машине для прорыва временного пояса, это еще связано с риском. Задержишься сверх рассчитанного — и можешь навсегда затеряться в прошлом...

Экран на стене осветился.

— Вас вызывают, Бобров, вас вызывают, — забубнил автомат.

Я нажал кнопку приема.

— Слушаю.

Профессор улыбался во весь экран:

— Командировка разрешена. Срок — с шести утра до пяти вечера 6 февраля 1945 года.

— Спасибо! — произнес я взволнованно и встал.

— Благодарить будете потом, — сказал профессор. — Это не прогулка на Марс, это опасно...

Дорога была гладкой, наезженной. И, несмотря на мороз, снег даже не поскрипывал под сапогами. Ковш Большой Медведицы указывал рукоятью прямо на Землю. В предрассветных сумерках ярко горели окна дома, к которому сходились линии проводов, да яркие угли с шипением падали на снег из толпки походной кухни. Она стояла справа от крыльца.

В дом со светлыми окнами входили офицеры. Они приезжали на заиндевевших мохнатых лошадях. А я переминался с ноги на ногу возле крыльца, не зная, что делать. На мне скрипели новенькие ремни офицерского снаряжения. Шершавый воротник шинели уже успел натереть шею. На плечах были негнувшиеся погоны с одной звездочкой, на поясе — пустая кобура. Короче, я был одет как младший лейтенант по выпуску училища того времени.

Надо было разыскивать третью роту первого батальона...

Идти в штаб полка я не решался. В документах, которыми меня снабдили, могла быть ошибка. И тогда я наверняка просидел бы одиннадцать своих драгоценных часов под арестом. Или меня могли послать не в ту роту...

Один из офицеров, выйдя из штаба, задержался у крыльца. Решившись, я сделал шаг к нему, взял «под козырек».

— Разрешите обратиться!

— Ну, чего тебе, младшой? — спросил офицер. Я разглядел четыре звезды у него на погоне.

— Не подскажете ли, товарищ капитан, как пройти в третью роту первого батальона?

Вспыхнувший лучик карманного фонаря ударил по глазам, потом неторопливо обшарил меня от шапки до сапог. И погас.

— Новенький? — спросил капитан. — Что ж мне в штабе ничего не сказали... — И крикнул в темноту: — Васька!

Словно из-за угла вывернулся солдат, держа за поводья двух лошадей.

— Проводишь вот лейтенанта к сорокапятникам на батарею, — сказал капитан.

Потом он протянул руку:

— Давай знакомиться. Я — комбат один, Васильев. Третья рота уже получила задачу, вышла. Догонишь ее с батареей. Примешь командование. Офицеров в роте, кроме тебя, нет. Понял? А задача простая: держать высоту, держать до приказа, кровь из носу — держать. Твоя высота полк прикрывает. Понял? У фрицев нет выхода, они в котле, они пойдут на прорыв, ничего не жалея. — Капитан говорил быстро, словно вколачивал в меня слова. — Вся ответственность на тебе. Понял? Васька, проводи комроты на батарею. Счастливо! — его крепкая ладонь, теплоту которой я еще помнил, поднялась к виску. С руки свисала плеть с короткой рукоятью...

Я шел деревянной улицей за торопящимся Васькой. Над левым плечом его торчал приклад пистолета-пулемета Шпагина, ППШ, как его тогда называли.

Я шел, и мне было приятно сознавать, что так хорошо знаю эпоху. И вещи все узнал, и язык понятен: «они в котле», «кровь из носу — держать». И только одно меня смущало — как буду ротой командовать. Оружие того века я знал, стрелять умел, но командовать ротой — доброй сотней бойцов — меня никогда не учили. И почему там нет ни одного офицера? Ведь их должно быть по боевому уставу по крайней мере пять. Где же младший лейтенант, которого я ищу...

Васька свернул куда-то во двор. Две маленькие пушки были уже прицеплены к передкам, солдаты в шинелях с поднятыми воротниками толпились возле орудий. Вспыхивали огоньки махорочных самокруток. В повозку, груженную ящиками, впрягли лошадей. Я видел, как солдат, зануздывая лошадь, ударил ее кулаком и забористо выругался.

Мне стало не по себе. Неужели даже они, герои, были в двадцатом веке такими...

Додумать я не успел. Лейтенант, которого отыскал рядовой Васька, подошел ко мне.

— Здорово. Я Михайлов. Будем вместе воевать. — У него, как и у солдат, воротник шинели был поднят. — Садись на пушку, сейчас трогаем.

Я разглядывал закутанное в мерзлый брезент орудие, думая, как на него садиться. Кто-то меня тронул за рукав:

— Садись к замку, не так тряско.

И я сел, ухватившись за какую-то рукоять под брезентом. А лейтенант вдруг весело и совсем не по уставу заорал:

— Кончай ночевать! Расчеты по местам! Рысью ма-арш! — последнее слово он протянул, словно пропел.

Пушку качнуло на повороте. Одно колесо встало дыбом, потом вздыбилось другое, и, переехав через канаву, мы выехали на дорогу. Застучали копыта, засвистел ветер. Огромное ярко-оранжевое солнце вставало над заснеженным перелеском.

Летит снежная пыль из-под колес орудийного передка — двухколесной тележки, в которую впрягают лошадей и за которую цепляют пушку. Я знал, что во время войны в Советской России появились куда более мощные орудия, на механической тяге. Ну, а тут еще сохранились сорокапятки и лошади...

Солнце поднимается, и синие морозные тени становятся все короче. Хорошо!..

В этот яркий солнечный день я не испытываю ни тревоги, ни страха. Качу прямо к месту командировки. Покачиваюсь на стальном лафете рядом с людьми двадцатого века. Они, по-моему, тоже спокойны.

Они не знают, что сегодня их ждет тяжелый бой, в котором многие погибнут. Не знают, что этот день для многих последний... Я знаю.

И оттого, что я из будущего, что меня-то наверняка нельзя ни убить, ни покалечить, мне как-то неловко перед людьми. Вот перед этим, который отвернул от встречного ветра небритое, заросшее сивой щетиной лицо. Ему за сорок.



Над маленькими, запавшими под лоб глазами тяжело нависли, как козырек, седоватые брови. Чуть шелушится кожа на примороженных скулах. А большие натруженные руки говорят, что он и в мирной жизни нелегким трудом зарабатывал хлеб.

И, наверное, дети у него, и такая же, как и он, широкая в кости жена с постаревшим от работы и бессонных ночей лицом.

А есть среди солдат совсем мальчишки. Этому, который сидит на стволе, вцепившись в броневую щит орудия, наверняка не больше восемнадцати. На морозе покраснели его нежно-розовые, почти девичьи щеки. А зубы уже пожелтели от махорки, и глаза — пристальные, по-взрослому суровые. Этот мальчишка, пожалуй, более жесток сердцем, чем тот, сорокалетний. Заросший седой щетиной солдат успел пожить мирной жизнью, радовался подрастающим детям, любил свою жену, для него — самую красивую женщину. А молодой шагнул прямо из детства в бой, на войну...

Мне, привыкшему к большим скоростям, медленной и смешной казалось езда на животных. Но люди этого не замечали. Шесть лошадей дружно молотили копытами дорогу. Солдаты отворачивали лица от ветра. И вот из-за края земли медленно поползла вверх красная кирпичная мельница, накрест перечеркнутая собственными крыльями. Высота 319,25.

Я ждал боя, пулеметной очереди, визга разлетающихся осколков. Но было тихо.

Было удивительно тихо. В синем безоблачном небе блестящей елочной игрушкой плыл самолет с двумя фюзеляжами.

— Рама, — сказал и вздохнул пожилой солдат. Да, это был фашистский самолет-корректировщик.

В третьей роте всего девятнадцать человек. Это смертельно усталые люди, которые шли всю ночь, чтобы к утру достичь высоты. Сейчас они спят вповалку в небольшом доме за мельницей. Спят прямо на полу, на разостланной соломе, натянув шинели на головы.

У мельницы поживает солдат с биноклем. И пулемет осторожно вытянул тупую морду в сторону леса, который синее вдаль, подковой охватывая высоту. Артиллеристы роят в глубоком снегу огневые позиции. С лопат летит белая пыль и крупные комья снега. А рядом пушки со стволами в брезентовых намордниках.

Все это производит удивительно мирное впечатление.

Одиннадцать утра. Продолжается шестое февраля 1945 года...

А на столе толпятся высокие тонкогорлые бутылки со светлым немецким вином. Белеет жир в раскрытых коробках консервов. И лейтенант Михайлов, благодушно развалясь в кресле, поучает меня:

— Да ты не суетись! Все, что положено, мы сделали. На место прибыли вовремя. Пушки мои ребята скоро расставят, твои славяне все в сборе. Полный порядок. Да и фрицев не видно. Глядишь, простоишь здесь до вечера, а там двинем дальше.

— Нет, — говорю я, — здесь будет бой...

— Телеграмму от Гитлера получил? — смеется лейтенант.

У него черные волосы, цыганские глаза и очень белые зубы. Без шапки и шинели, с рас-

стегнутым воротом гимнастерки, на которой красной эмалью отсвечивают два ордена, он, пожалуй, красив. Старят его щетина на подбородке и щеках и ранние морщины, бегущие ко лбу от переносья. А ведь он наверняка моложе меня.

— Выпей, — лейтенант наливает вина в солдатскую кружку. — Да не бойся, оно слабое, как квас. А то ты не куришь, не пьешь — чистый монах.

Я выпиваю. Вино на самом деле слабое — сухое.

Лейтенант многому может научить меня — он, видно, воюет не первый год. А все-таки я знаю больше него. Я знаю, что через несколько минут — или часов? — здесь разыграется бой. А он знать этого не может. Я — из будущего, он — из этого времени. Я должен его предупредить. Ведь он скоро умрет.

Других офицеров на высоте нет. Только мы двое... Значит, в донесении просто напутано со званием. Он, оказывается, лейтенант, а не младший лейтенант.

Он скоро умрет, я должен его предупредить.

— Чего ты на меня смотришь, словно я — твоя покойная бабушка? — спрашивает Михайлов. — Боишься, что ли? Да ты не дрейфь. Высота господствует над местностью, обстрел хороший. Две пушки, «максим» — жить можно.

— Как вас зовут? — спрашиваю я.

— Алексей. А тебя?

— Володя. А вы откуда?

— Земляка ищешь? Из Москвы я. На Малой Бронной жил. Слышал такую улицу?

— Слышал, — киваю я. Даже песню знаю о погибших ребятах-москвичах: «Серезка с Малой Бронной и Витька с Моховой...» И вот он сидит передо мной — Алешка с Малой Бронной, пьет вино, достает ножом куски красно-белого мяса из железной банки.

— А ты откуда? — спрашивает человек из песни.

— Я вологжанин.

— Темный городишко! На каждые три дома — по церкви, — авторитетным тоном столичного жителя говорит Михайлов. — Кончится война, приезжай ко мне, в Москве поживешь... — Он закуривает толстую самокрутку.

Сколько за время войны он так приглашал? Эх, показать бы ему, кстати, и «темный» город Вологду. Показать здешние небоскребы, разбросанные среди тропической зелени. И речку, и набережную из пластика, который под влиянием интенсивности света сам меняет цвета...

— Вы чем до войны занимались? — продолжаю этот необходимый, но уже самому неприятный допрос.

— В школе учился.

— А ордена вам за что дали?

— За войну, — грубо отрезает Михайлов. И я понимаю, что ему, фронтовику, неприятно говорить об этом с мальчишкой, который и фашиста живого в глаза не видел. Лейтенант неприятно смотрит на меня, резко выдыхая сразу из обеих ноздрей струи синего дыма.

Потом взгляд его смягчается, добрее. Видимо, он считает, что попросту я боюсь своего первого боя и потому сыплю дурацкими вопросами.

— Я тебе подарок сделаю, — говорит Михайлов, уже улыбаясь. — Небось все училище мечтал...

Из правой сумки он достает вороненый па-

рабелл; м. Калибр девять миллиметров, восемь патронов входит в обойму, — услужливо подсказывает память.

— Держи. Обращаться-то умеешь?

Обращаться с немецким стрелковым оружием я умею. И я невольно краснею от радости, что у меня будет оружие, которое подарил боевой офицер второй мировой войны.

— Тебе сколько лет? — спрашивает вдруг лейтенант.

— Двадцать шесть, — не подумав, отвечаю правду.

— Ну, вот бы не сказал! А мне двадцать два... Небось в институте учился, отсрочку давали?

Я киваю...

— Товарищ лейтенант! — просовывается в дверь часовой. — Возле леса, кажись, фрицы появились. Побачьте...

Я вскакиваю, дрожащими руками всовываю дареный пистолет в свою кобуру. Всовываю, а он не лезет.

Михайлов быстро натягивает шинель. Когда я выбегаю на крыльцо, он стоит, широко расставив ноги, приставив к глазам бинокль. Потом протягивает бинокль мне:

— Гляди...

Из леса вытянулись и движутся к высоте три темных полоски. И прежде, чем успеваю сообразить, что это, лейтенант говорит:

— Пустили передом взвод. Видишь, идут по отделениям. Объявляй тревогу...

Я врываюсь в комнату, где мы так уютно беседовали, и кричу:

— Тревога! По местам!

Люди просыпаются. Расхватывают оружие, моя рота вываливается наружу. На соломе остается красный матерчатый кисет и винтовочная обойма с четырьмя патронами.

Коротенькая цепочка моих солдат на снегу перед мельницей. Я вижу их спины, широко раскинутые ноги в обмотках, сапогах, валенках. Короткие черточки — стволы автоматов. Хищные силуэты пушек. А в бинокль уже видно, как, проваливаясь по колено в снег, движутся вражеские солдаты.

Мы с Михайловым на мельнице. В ее кирпичной стене пробиты дыры, из них открывается прекрасный обзор.

Немцы идут. Мои солдаты лежат. Михайлов молча смотрит в бинокль. Что делать? Я ведь команду ротой...

— Стрелять надо, — неуверенно говорю я.

— Зачем? — отзывается Михайлов. Он на минуту опускает бинокль. — Этих положить мы всегда успеем. Знать бы, сколько фрицев в лесу...

Михайлов улыбается, хотя я понимаю, что ему совсем не весело, он улыбается для меня.

— Не дрейфь, Володя, отошьемся, — и снова прикасается к биноклю.

Не дойдя до мельницы примерно полкилометра, фашисты, которые прежде шли гуськом, один за другим, разворачиваются в цепь. Так идти труднее, и немцы движутся медленнее. Я уже различаю глубоко надвинутые каски и блекло-зеленые шинели.

— Пора, — спокойно говорит Михайлов.

— По наступающей пехоте противника, — кричу я, выскочив из мельницы. — Пояс. Прицел...

Мои солдаты открывают огонь, не дождавись конца команды. Прицел им, очевидно, известен и без меня. Михайлов, схватив меня сзади за ремень, рывком втаскивает под укрытие толстых кирпичных стен.

— Ну, чего выставился! — ругается лейтенант. — Прямо Багратион какой-то. Из мельницы, что, голоса твоего не услышат? Это тебе не полигон в училище...

Раскатисто и глухо бьет станковый пулемет. Звонко, короткими прицельными очередями стреляют автоматы. Немцы словно вжались в снег. Их почти незаметно. Однако больше половины лежат на виду, неподвижно. И я не могу оторвать от них взгляда. Я смотрю на людей, которых убили по моей команде.



А смотреть надо не на них. О мельничные стены ударяют пули, потом раздается короткий, леденящий душу нарастающий визг. Возле мельницы вырастает столб снежной пыли, и град осколков барабанит в стены.

— Славяне, в укрытие! — кричит Михайлов.

Мгновение, и мельница набита запыхавшимися солдатами. Одного втаскивают, и на его мертвых, неподвижных ногах — налипшие комья снега.

А у мельницы, чередуясь, через правильные промежутки, повторяются визг летящей мины, короткий удар разрыва и злобный свист осколков....

Так продолжается примерно полчаса. Вокруг мельницы больше нет белого снега. Он почернел, разбросан взрывами, иссечен осколками.

Наступает тишина.

— По местам! — командует Михайлов.

И люди покорно выходят из-под укрытия толстых кирпичных стен. Выходят к окопам, где минуту назад скрежетал разъяренный металл. И я смотрю на них с уважением. Ведь и мне, уверенному в своей полной безопасности, — страшно.

А из леса выкатываются черные точки. И длинной цепью, захватывая нас в полукольцо, движутся вверх по склону.

А затем все повторяется. Наш огонь укладывает вражескую цепь в снег. Из леса приносится скрипящий визг мин. Солдаты собираются под укрытие мельничных стен. Затем — снова команда: «По местам!..»

Все повторяется. Только немецкая цепь все ближе, а солдат собирается в укрытие все меньше.

— Почему не стреляют пушки? — кричу Михайлову.

— Рано! — кричит лейтенант. Он, по существу, руководит бьем. Осколок разрезал ему погон на левом плече, цыганские глаза сужены в узкие щелки. — Рано!..

— Как — рано? Немцы же рядом!

— Рано, Володя!..

И он оказался прав. На опушку леса медленно вылез танк. Уверенный в себе, он как-то нагло, не спеша развернул угловатую башню. Нам в лицо уставился длинный ствол орудия. И мельница затряслась от удара. Второй снаряд угодил в фундамент. Кирпичи обвалились, пахнуло едкой, обжигающей легкой гарью....

Михайлова рядом не было. Я не успел заметить, как он выбежал к пушкам. Но вот одна из них, стоявшая справа от мельницы, выстрелила. Раз, другой, третий... Трассирующие снаряды били в лоб танку. И, не в силах пробить броню, круто взмывали вверх. А пушка, как маленькая рассерженная собачонка, тьякала все быстрее и злей.

Танк дрогнул и попятился. Но это — на мгновение. Он тяжело выполз на бугорок, развернулся, и снаряд обрушился на орудие. Второй... Четвертый.... В воздухе мелькнули взлетевшее орудийное колесо и чья-то шинель.

Широко разметав рукава, шинель медленно падала, словно парила в воздухе.

Я не успел заметить, когда наша вторая пушка начала стрелять.

Снаряды один за другим ударяли в танковый бок. Они не взлетали, рикошетируя, вверх! Они словно исчезали, коснувшись брони. Танк, дернувшись, стал разворачиваться. И не успел. Сначала откуда-то из-под башни поползли ленивые струй-

ки дыма, потом блеснул узкий язык пламени. А через минуту взрыв потряс его кованое тело. Башню отбросило в сторону, полыхнул смрадный костер.

Михайлов тяжело переводил дыхание, жадно дыша синим махорочным дымом. Кровь сочилась из ссадины на лбу.

— Первый расчет накрылся, — шипло сказал он. — Во втором трое ранило. Если у фрицев есть еще танки — худ...

Я стал уязвим. Мое время вышло. Уже двадцать минут как вышло. Двадцать минут назад я должен был нажать кнопку вызова. Специальный аппарат вделан у меня в пряжку ремня. Ее просто надо расстегнуть, и я бы тут же исчез с высоты 319,25. Быстрота, с которой машина прорывает временной пояс, делает ее почти невидимой для человеческого глаза. Но я не смог нажать кнопку вызова.

Нас осталось трое.

Мы с Михайловым стреляли в проем стены, образовавшийся после танкового обстрела. Раненый в обе ноги мальчишка, который ехал вместе со мной на пушке, лежал на животе, снаряжал автоматные диски. Бледный от потери крови и от боли, он набивал круглые, как подсолнух, диски золотистыми патронами.

Я не мог покинуть этих людей. У меня дрожали руки и болело плечо. Но я видел в прорезь прицела фашистских солдат, и палец сам нажимал на спусковой крючок...

Когда минометы опять стали молотить по мельнице, когда рядом блеснула вспышка разрыва, я шагнул вперед и закрыл собой Михайлова. Я не подумал, что нельзя переделывать прошлое, что он все равно умрет. Я просто шагнул вперед.

Меня ударило в грудь. И стало нестерпимо душно. Я услышал, как Михайлов испуганно спросил:

— Куда тебя, Володя...

Острый нож царапнул кожу на груди. Я догадался, что Михайлов разрезает на мне гимнастерку, чтобы перебинтовать меня. Вспомнил, что время мое давно было, и понял, что умираю...

Перевязывая меня, Михайлов расстегнул пряжку ремня, и аппарат вызова сработал. Оказывается, товарищи из Академии Высоких Энергий сумели как-то продлить мою командировку. В состоянии клинической смерти меня вывезли из двадцатого века. В моей груди бьется теперь искусственное сердце...

Путешествия во времени вплоть до особых распоряжения запрещены. Человечество не может, не имеет права вмешиваться в прошлое, корректировать его.

А я... Мне никогда не забыть пережитого дня войны. Человеческого мужества, ужаса внезапной смерти. Нарастающего визга мин и дымящейся крови на морозном снегу. Иногда я достую из стола подарок Алексея Михайлова. Тупо и грозно заглядывает мне в лицо черное дуло пистолета.

Сквозь тысячи боев и миллионы смертей шло человечество к счастью. И мы будем всегда помнить об этом. И помнить тех, кто погиб, защищая будущее.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНЕ ЧУДЕС

Писатель Борис Ляпуцов, автор не одного десятка научно-популярных книг, одновременно известен широкому читателю как давний приверженец фантастики, один из крупнейших знатоков советской научно-фантастической литературы. В течение многих лет ведет он строгий учет всему, что появляется в нашей стране под неизменно интригующей маркой «НФ». Новая его книга¹ как бы подытоживает успехи, достигнутые за полвека советской фантастикой.

А фантастике нашей — есть что подытоживать! Бесспорен ее расцвет в последние десятилетия — пятнадцать лет. Славные страницы, связанные с именами Алексея Толстого, Александра Беляева, академика В. А. Обручева и многих, многих других, — в ее прошлом. В дореволюционные десятилетия, в девятнадцатый век уходят ее корни: В. Ф. Одоевский и Н. Г. Чернышевский стоят у ее истоков, и такой колосс мысли, как К. Э. Циолковский, и такие представители русской литературы, как Александр Куприн и Валерий Брюсов.

Но не только о путях, пройденных нашей фантастикой, рассказывает в своем очерке Б. Ляпунов. Объединяя лучшее из созданного нашими фантастами в отдельные жанрово-тематические группы, он добивается благотворного эффекта: при всей беглости, почти неизбежной фрагментарности скванного небольшим объемом обзора, фантастика предстает перед читателем книги не в виде препарированной и оттого безбожно засушенной музейной диковины, а как живая, полнокровная отрасль нашей художественной литературы. Вот она разрабатывает поистине неисчерпаемую тему Космоса; предугадывает возможные формы контакта со звездными братьями по разуму; исследует коммунистическое будущее нашей

планеты; набрасывает общие контуры преображенной Земли — «космического дома человечества»; высвечивает близкие и дальние горизонты науки и техники.

Да, это — действительно живая, многоликая сегодняшняя фантастика!

В нашей литературной критике идут жаркие споры о том, что считать научной фантастикой, какие книги сюда относятся, а какие — нет, что может и что должна научная фантастика, а что — не должна и не может... Вопросы серьезные, они жизненно важны для дальнейшего совершенствования этой отрасли литературы. И хотя рядовой читатель вовсе не склонен откладывать чтение самой фантастики на тот неопределенный момент, когда все эти вопросы будут исчерпывающе разрешены, — и ему, читателю, тоже небезынтересно разобраться в специфике книг, пользующихся столь бурным спросом.

Путеводитель Б. Ляпунова несомненно поможет читателю и в этом. Поможет, хотя автор явно предпочитает не высказываться по вопросам сугубо теоретическим: он предоставляет это делать... самому читателю.

За дискуссионным круглым столом один за другим выступают около пятидесяти писателей и критиков: их выступления, представляющие собою то афористически выраженную реплику в споре, то развернутое, основательно аргументированное суждение, — любовно подобраны Б. Ляпуновым и составляют неотторжимую часть этого все-таки необычного путеводителя. Ведь обычный путеводитель сообщает читателю лишь безукоризненно точные, выверенные до сотой доли процента сведения. Здесь же — совсем наоборот: заслушивая мнения многих, чьи фамилии уже встречал на обложках прочитанных книг, составляя собственное мнение — напрокат его в данном случае не получишь, приведенные в книге суждения разноречивы и подчас

попросту взаимоисключающи — и спорь, отставив его, если можешь!

Несомненное достоинство книги Б. Ляпунова — и в ее справочно-библиографическом аппарате. Многочисленные сноски в тексте, заключающая обзор библиография книг, изданных в нашей стране в 1958—1968 годах, — неизмеримо расширяют то знание основного фонда нашей фантастики, которое читатель, безусловно, почерпнет из этой книги.

Знаете ли вы, что за неполные пятнадцать послевоенных лет в Советском Союзе выпущено столько научно-фантастических произведений, сколько вышло за весь предвоенный период, начиная с 1917 года? Что с 1958 по 1968 год число изданий, книжных и в периодике, перевалило за тысячу?

Поистине безбрежен сегодня океан фантастики. Неискушенному читателю тут очень легко потеряться, очень легко за обманчивой и скоропроходящей окраинной зыбью не разглядеть грозного девятого вала подлинно художественной фантастики. Фантастики, властно завладевающей читательским вниманием, сталкивающей рядового землянина лицом к лицу с безднами времени и пространства, заставляющей его много и напряженно размышлять о будущем (и не только о будущем, но и о прошлом, и — более всего — о настоящем!) родной планеты.

Отличной лодией, верным проводником в этом отнюдь не мирном океане могла бы послужить толково составленная полная, исчерпывающая библиография советской фантастики. Но ее, такую библиографию, вы не найдете ни в одной библиотеке: ее нет, она еще не создана.

Книга Б. Ляпунова «В мире мечты» — обнадеживает, она свидетельствует о том, что такая библиография будет создана. Притом, очевидно, — в самом недалеком, отнюдь не фантастическом будущем.

¹ Борис Ляпунов. В мире мечты. Обзор научно-фантастической литературы. М., изд-во «Книга», 1970, 213 стр.

серьезное с курьезным



ФУРГОН ПРЕДКОВ

В сентябре 1964 года к кузнецу одного из колхозов под Минском обратился с просьбой перековать лошадей человек в синем тexasском костюме и широкополой ковбойской шляпе. К кузнецу он подъехал в фургоне, тоже, казалось, взятом напрокат в одной из киностудий. Борта фургона и тент были сплошь заклеены ярлычками и марками сотен городов всего мира.

— Мы, путешественники Техас — Москва, — заявил хозяин этой необычайной повозки Леон Гиллис.

Вместе с Гиллисом путешествовала его семья: жена и четверо детей. За три года Гиллисы проехали Америку, пересекли Атлантический океан на грузовом судне, проехали всю Европу. Свой круиз американцы завершили в Ленинграде.

ПЕШКОМ ИЗ ПАРИЖА В МОСКВУ

Норвежский моряк Эрнест Мензен прославился на всю Европу в первой половине прошлого столетия своими... пешими переходами.

В 1834 году он объявил о своем намерении в течение пятнадцати дней дойти из Парижа в Москву. Столицу Франции он покинул 11 июня, в 4 часа дня. А 26 июня, в десять часов утра, уже вошел в Московский Кремль, пройдя, таким образом, расстояние в 2500 верст за 14 дней и 18 часов.



ВОКРУГ СВЕТА НА ДЕТСКОМ АВТОМОБИЛЕ



В тридцатых годах в Англии были в моде миниатюрные автомобили «Питекрафт». Это был один из первых в мире детских настоящих «авто» с двигателем... всего в две лошадиные силы.

Кто из счастливых обладателей «Питекрафта» не мечтал совершить на нем кругосветное путешествие! Увы, мамы не пускали.

Тридцатидвухлетнего чертежника Джима Паркинсона мама удержать уже не могла. Раздобыв по случаю разбитый «Питекрафт», Джим восстановил его и в 1965 году осуществил все-таки золотую мечту своего детства. Он стартовал на своем «малыше» в Дувре и через месяц, пройдя на максимальной скорости — 18 километров в час! — дороги Голландии, Бельгии, Польши, пересек границу Советского Союза. Впереди была Сибирь. Дальний Восток, а потом Япония, США... В итоге «Питекрафт» обогнул весь земной шар.

РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Технический редактор Э. Максимова

Корректор В. Бурангулова

Адрес редакции: Свердловск ГСП-353, ул. Малышева, 36, комн. 79 и 87. Телефон 51-22-40.
Подписано к печати 11/XII 1970 г. Бумага 84×108^{1/16}=2,62 бум.—8,82 печ. л. Уч.-изд. л. 8,9.
НС 16258. Тираж 145 000. Цена 30 коп. Заказ 616.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

„РОМАНТИКИ“



Вглядись в мир, и ты увидишь, как этот мир прекрасен. Ты живешь в эпоху великих свершений. Тебя окружают люди окрыленной души, возвышенных чувств и возвышенных мыслей. Имя им — романтики. Это и строители, и землепашцы, и музыканты... Всех профессий не перечислить.

Останови на миг время! Этот миг на фотопленке — пусть он сохранится для других романтиков, как свидетельство очевидца, как память о нашем времени.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

Первое и главное: на фотоснимках должны быть запечатлены твои современники — на работе, учебе, дома или в турпоходе... Короче — везде, ибо романтик всюду остается романтиком — и в тайге, и в обжитом городе.

Второе обязательное: все снимки должны быть отпечатаны в двух экземплярах на глянцевой бумаге форматом 18×24 или 24×30 и снабжены подписями, под которыми они будут опубликованы в журнале. Обязательно сообщите свою фамилию, имя, отчество, домашний адрес и профессию или место учебы.

Третье пожелание: присылать можно не только отдельные снимки, но и фотоочерки. Журнал особо будет приветствовать снимки с интересным сюжетом.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ:

Первая премия — фотокамера «Киев-4» (со сменной оптикой).

Две вторые премии — фотоаппараты «Киев-4А».

Три третьи премии — фотоаппараты «Зенит-В».

Кроме того, победители конкурса, а также все участники, снимки которых жюри сочтет нужным опубликовать на страницах журнала, помимо обычного в таких случаях гонорара будут награждены значком «Следопыт».

Имена победителей конкурса будут названы в декабрьском номере журнала.

ЖЮРИ ОЖИДАЕТ:

Ярких, интересных по сюжету и композиции снимков. Последний срок представления — 1 октября этого года. Наш адрес: Свердловск, ГСП-353, «Уральский следопыт», на конкурс.

ФОТОКОНКУРС! ФОТОКОНКУРС!





Л. ВЕЙБЕРТ

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

30 коп.

73413

И. о. главного редактора **А. БОГАЧЕВ**
Редколлегия: **В. АЛЬТОВ, А. АСС, М. ГРОССМАН, Ю. КУРОЧКИН,**
О. ЛЕОНОВА, А. МАЛАХОВ, Г. МАШКИН, МУСА ГАЛИ, В. НИКОНОВ,
Н. НИКОНОВ, Л. РУМЯНЦЕВ, И. ТАРАБУКИН (ответственный секретарь),
В. ШУСТОВ